

# Константин Паустовский

I

ВРЕМЯ БОЛЬШИХ  
ОЖИДАНИЙ



Повесть о жизни

Константин Паустовский

**Время больших ожиданий**

1958

## **Паустовский К. Г.**

Время больших ожиданий / К. Г. Паустовский —  
1958 — (Повесть о жизни)

В первый том произведений Константина Георгиевича Паустовского вошли повести «Время больших ожиданий» и «Бросок на юг» из цикла «Повесть о жизни». В повести «Время больших ожиданий» замечателен незабываемый образ Одессы 1920 – 1921 гг., легендарной Одессы бесчисленных песен, анекдотов и великой литературы. Бандиты с Молдаванки еще не превратились в книжных героев, еще длится морская блокада, но Одесса – она всегда Одесса! Повести сопровождаются неизвестными широкому читателю дневниковыми записями Паустовского и письмами людям, ставшим прообразами героев его произведений. Сын писателя, Вадим Константинович Паустовский, для данного издания написал ряд статей, ставших результатом его исследований творчества отца.

## Содержание

ПОД ЗНАКОМ БАБЕЛЯ. Предисловие Вадима Паустовского	5
Фрагменты глав из повести «НАЧАЛО НЕВЕДОМОГО ВЕКА»	16
Из главы «О ФИРИНКЕ, ВОДОПРОВОДЕ И МЕЛКИХ ОПАСНОСТЯХ»	16
Из главы «ПОСЛЕДНЯЯ ШРАПНЕЛЬ»	22
ПРЕДКИ ОСТАПА БЕНДЕРА	24
ЛАБИРИНТЫ ИЗ ФАНЕРЫ	34
ЯЧНАЯ КАША	36
БЛОКАДА	39
ХИТРОСПЛЕТЕНИЕ ОБСТОЯТЕЛЬСТВ	46
Конец ознакомительного фрагмента.	47

# Константин Паустовский

## Время больших ожиданий

### ПОД ЗНАКОМ БАБЕЛЯ.

#### Предисловие Вадима Паустовского

Впервые эта книга «Повести о жизни» была опубликована в № 3 – 5 журнала «Октябрь» за 1959 год.

Первоначально ее предполагалось поместить в «Новом мире», о чем имелась договоренность с Твардовским, в то время главным редактором журнала. Но затем возникли разногласия, которые привели к обмену резкими письмами между редакцией и автором. Паустовский потребовал вернуть ему рукопись. Об этом узнал главный редактор «Октября» Панферов и предложил для публикации свой журнал.

Яблоком раздора между «Новым миром» и Паустовским послужил ряд мест книги, в том числе страницы, посвященные Бабелю.

Отец вспоминал обстоятельства дружбы с Исааком Эммануиловичем Бабелем, возникшей в 1921 году, когда оба будущих писателя жили летом на даче, на Большом Фонтане. Годом раньше Бабель еще скитался по Польше и Украине с армией Буденного. До опубликования новелл из циклов «Конармия» и «Одесские рассказы» оставались месяцы и даже годы.

Но в воспоминаниях Паустовского Бабель представлял уже как бы известным автором этих произведений. Более того, Бабель показывает отцу много вариантов рукописи рассказа «Любка Казак», который увидел свет лишь в 1924 году, то есть через три года после дачных встреч.

Все это объясняется довольно просто. Паустовский бывал в Одессе и общался с Бабелем и в последующие годы. Он сознательно объединил старые и новые впечатления, чтобы сделать воспоминания более полными. Прошло только два года после XX съезда, вскрывшего и осудившего культ личности. Как знать, может, все переменится снова и имя Бабеля опять будет изъято из обращения?

В литературно-чиновничьих кругах к имени репрессированного и расстрелянного Бабеля продолжали относиться настороженно. Это подтвердила и придирка редакции «Нового мира», которая для отца оказалась совершенно неожиданной. В письме редколлегии журнала, подписанном Твардовским, высказывались сомнения не только по поводу значительности места, занимаемого во «Времени больших ожиданий» образом Бабеля, но и вообще по сути самой направленности вещи, не соответствующей определенным «советским стандартам».

Отец посчитал тон авторов письма развязным. Его задело отношение не столько к нему лично, сколько и прежде всего – к Бабелю.

Поэтому он ответил довольно резко.

В дальнейшем Паустовский и Твардовский «помирились».

С Твардовским вскоре произошла значительная перемена. Он уже не смотрел на окружающее «с официального верха» (выражение из ответа отца на письмо Твардовского). Возможно, это было следствием публикации в «Новом мире» повести «Один день Ивана Денисовича» и общения с Солженицыным.

Этот эпизод подтверждает, что отец (в отличие от ряда писателей и поэтов) не позволял увлечь себя никакой официально-партийной риторикой. Он мог уклониться, промолчать, иной раз вынужденно с чем-то согласиться, и то отчасти, но всегда старался не поддерживать ложь.

Подчинялся по возможности лишь собственным правилам поведения. Такие правила он время от времени составлял для себя на отдельных листках бумаги. Он не был педантом, скорее

всего эти правила были итогом его наблюдений и выводов за определенный период. В настоящем издании воспроизводится один такой листок относящийся уже к началу тридцатых годов. К сожалению, не сохранились листки начала двадцатых годов, периода активного общения с Бабелем. Может, тогда их и не существовало.

Хотя Бабель был несколько моложе отца, как писатель он созрел раньше. Он сумел создать удивительный цикл новелл о гражданской войне, в котором «не угодил» ни одной из сражающихся сторон, а только правде. И это – несмотря на крайне субъективное, «чисто писательское» восприятие действительности. Скорее именно благодаря ему.

Творческий путь Бабеля – пример того, как надо учиться «слушать все голоса мира», но подчиняться только «своему внутреннему голосу».

По словам отца, Бабель, чтобы оградить свой внутренний мир и не трепать нервы по пустякам, также предпочитал следовать определенным правилам. Записывал он их или нет – неизвестно. Заимствовал ли отец в этом отношении опыт Бабеля или же сам пришел к подобным мыслям? - сказать не могу.

Так или иначе, лето 1921 года, которое оба будущих писателя проводили вместе на Большом Фонтане под Одессой, очень много дало отцу в смысле писательского профессионализма. Они взаимно обогащали друг друга, хотя отец в своей книге в первую очередь подчеркивает роль Бабеля. В силу свойств своего характера.

Дачная жизнь располагает к тесному общению, тем более если это общение – семейное. Потому что не только Бабель, но и Паустовский, и Лившиц жили на даче не одни (как это можно заключить по «Повести о жизни»), а с женами.

Отец же в соответствии с замыслом этих глав сосредоточился на разговорах с Бабелем и «беседах с природой». Это соответствовало его настроениям и наблюдениям в тот период. Поэтому иные мотивы – семейные и прочие – он сознательно обошел.

Не раз говорилось, что «женская линия» всегда была исключительно сильна в творчестве Паустовского, но упоминалось, что и ее он подчинял своему субъективному построению материала. Так, все женские образы неизменно преображены и возникают только в тех местах книги, где это предусмотрено автором.

В описаниях дачного лета 1921 года женская линия отсутствует. Исключение сделано лишь для жены самого Бабеля – Евгении Борисовны. Может быть, потому, что без упоминания о ней повисла бы в воздухе колоритная история о бабелевской теще и ее внучке, мальчике Люсе. Откуда, спрашивается, они тогда могли бы взяться? Саму же эту историю отцу очень хотелось рассказать (глава «"Тот" мальчик»).

Лишь вскользь упомянута сестра Бабеля Мария Эммануиловна, по-домашнему – Мери. А ее роль оказалась весьма знаменательной именно в сближении Бабеля и Паустовского.

Сам Бабель по натуре был человек замкнутый, он раскрывался далеко не сразу и далеко не каждому. Мери, напротив, обладала характером открытым и отзывчивым. Как и мать Бабеля, она словно озаряла светом жизнь всей семьи. Мария Эммануиловна была на три года моложе брата, родилась в Николаеве, где жила вся семья до переезда в Одессу, умерла в 1987 году в Брюсселе. После замужества с 1924 года пребывала в основном в Бельгии, куда к ней вскоре, похоронив мужа, приехала и мать.

С тех пор все члены семьи обосновались в Европе. Может быть, это и сохранило им жизнь в отличие от самого Бабеля, который вплоть до середины 30-х годов навещал их.

В 1921 году Мери училась на биологическом факультете Новороссийского университета (так официально назывался университет в Одессе). Двумя годами ранее юридический факультет того же университета окончил Исаак Леопольдович Лившиц (Изя Лившиц по «Повести о жизни»). Он еще подростком сидел за одной партой с Бабелем в Одесском коммерческом имени императора Николая I училище. Возникшая дружба не прерывалась на протяжении всех последующих лет. Лившиц стал постоянным адресатом многих писем Бабеля.

Еще в студенческие годы с легкой руки Мери состоялось знакомство Изи с ее однокурсницей и лучшей подругой Люсей Верцнер. Это знакомство завершилось свадьбой как раз в начале 1921 года. Мери считала себя покровительницей брака подруги и стала инициатором проведения совместного дачного лета.

Изя Лившиц, окончив университет, юристом не стал. Его увлекла газетная работа в «Моряке», где он близко сошелся с четой Паустовских. И они стали третьей семьей своеобразного «дачного триумvirата». Тон задавала Мери Бабель, которая тесно сдружилась с моей матерью. У меня сохранились письма Мери к ней уже из заграницы, конца 20-х – начала 30-х годов.

Неистребимое южное жизнелюбие помогало мириться с крайностями блокадного голодного лета. На даче было немало веселья, розыгрышей, разговоров допоздна за обширнейшим чайным столом, который в хорошую погоду выносили наружу и располагали под старой разлапистой яблоней. Может, это и дало название своеобразному литературному клубу, рожденному в шутку, но, как хорошо известно, во всякой шутке неизменно заложено зерно истины. В бумагах отца сохранился ветхий листок, отпечатанный на разбитой пишущей машинке:

## **УСТАВ КЛУБА ЛИТЕРАТОРОВ «ПОД ЯБЛОЧНЫМ ДЕРЕВОМ»**

Наши силы, наше знание, наши дарования и опыт были брошены в течение последних лет на всевозможные фронты. Один лишь фронт остался у литераторов совершенно забытым и заброшенным. Этот фронт – фронт литературы.

Ныне, демобилизуясь вместе со всей страной, мы невольно стали лицом к лицу с забытым нами плацдармом. Сбросив с плеч щиты и латы, мы возвращаемся к единственно родной для нас стихии борьбы и жизни - радости и творчеству. «Литераторы, назад к литературе!» - вот девиз наш сейчас.

Клуб «Под яблочным деревом» стремится стать олицетворением литераторов в Одессе.

§ 1. Членами Клуба могут быть только несомненно чистокровные, густопсовые литераторы (расклейщики газет, выпускающие, любители порнографических программ и одесские репортеры исключаются).

§ 2. Членом Клуба может быть только литератор талантливый или «подающий надежды» (женщинам-литераторам – 20% скидки, поэтессам – 30%).

§ 3. Для вступления в Клуб необходима личная рекомендация двух действительных членов и одного общепризнанного гения (гением обычно бывает сам рекомендуемый).

§4. На собраниях Клуба литераторов запрещается вести беседы:

- о политике,
- о пайках,
- о предстоящей зиме,
- о дороговизне лука и о Шенгели.

§5. Каждому члену Клуба вменяется в обязанность носить в боковом (левом) кармане пиджака:

- № 1) членский билет,
- 2) книжку стихов Веры Инбер,

3) порцию сахара для чая на собраниях (сахар можно заворачивать в стихи Инбер)

4) и пропуск для хождения по улицам после 3-х часов ночи.

§ 6. Литературные беседы ведутся по заранее разработанному плану. Каждому члену Клуба вменяется в обязанность разработать «свой» план. Прения о планах воспрещаются...

Этот параграф устава, защищающий писательскую «субъективность», выдавал Паустовского и Бабеля как авторов всего текста. Среди других условий были пункты о казначее и почетном председателе, на пост которого почему-то выдвигался Семен Юшкевич, уже успевший эмигрировать. Правда, оговаривалось, что «из Америки его вызывать не следует». Заключительный параграф устава гласил, что «Евгений Иванов назначается плавучим доком Клуба для ремонта литераторов, получивших боковую течь или севших на мель». В списке действительных членов Клуба, кроме постоянных «дачников» – Бабеля, Паустовского и Лившица, – числились еще трое «приезжавших» – Иванов, Крути и Зоров.

Среди близких друзей Паустовский всегда слыл отличным «застольным рассказчиком». Для него это была даже неосознанная литературная работа – «обживались» подробности и образы, которые он затем нередко использовал в своих вещах. Точно таким же свойством отличался и Бабель. И только оставаясь наедине, они начинали вести те доверительные беседы, что отражены в центральных главах «Времени больших ожиданий», беседы о сокровенных особенностях писательского труда.

Правда, однажды беседа пошла по другому руслу. В книге отец приводит такие слова Бабеля:

«– Я не выбирал себе национальность, – неожиданно сказал он прерывающимся голосом. – Я еврей, жид. Временами мне кажется, что я могу понять все. Но одного я никак не пойму – причину той черной подлости, которую так скучно зовут антисемитизмом.

Он замолчал. Я тоже молчал и ждал, пока он успокоится и у него перестанут дрожать руки».

Бабель признался, что не понимает причину антисемитизма. У отца же были твердые представления на этот счет. Его впечатления и наблюдения вобрали опыт и войны, и революции, и юных лет, проведенных в многонациональном Киеве.

Отец считал исходной причиной антисемитизма трусость. Ту животную изначальную трусость, что сопровождает людей с самых первобытных времен. Она в ладу с инстинктами, но не в ладу с разумом и человеческим достоинством.

Жизнь неизменно ставит перед нами много проблем – и социальных, и моральных, и материальных, – каких угодно... Порой они кажутся неразрешимыми, если идти путями разума и совести. Так рождаются погромы, войны, революции. Но в итоге это ничего не решает и мир по-прежнему – у разбитого корыта.

Выход, видимо, в умении проявить подлинно человеческую смелость, научиться объективно оценивать свои несовершенства, а не искать их постоянно у других. Кстати, это важнейший христианский принцип. Но это трудный путь, требующий мужества и чувства ответственности. Много легче – по-страусиному засунув голову под крыло, ничего не видя, *предаться трусости* и непрерывно повторять заклинания. Например, «все было бы прекрасно, если бы не евреи, они во всем виноваты» и т. д. Впрочем, в зависимости от географической широты и долготы место евреев вполне могут занять арабы, негры, англичане и даже русские (как например, у нацистов).

Помню, как мы с отцом однажды забавлялись, читая тоненькую брошюру дореволюционного издания. Это были небрежно переведенные мысли известного немецкого философа, возможно даже, с отсебятиной переводчика. Поэтому фамилию философа можно опустить, но

нельзя пройти мимо рассуждений по «национальному вопросу». Они хорошо отражали изъязы массы массового сознания, хотя и претендовали на философскую объективность.

Автор прежде всего устанавливал, что чисто национальными качествами могут считаться лишь те, что свойственны представителям самых различных социальных групп – например, и крестьянам, и министрам. Скажем, так – «французы легкомысленны...» Затем он резонно утверждал, что каждая нация считает себя богоизбранной и преисполненной всяческих достоинств, тогда как недостатки – удел нации по соседству. Автор издевался над такими взглядами, утверждая, что все недостатки и достоинства одинаково свойственны всем национальностям в равной мере.

Но следом у философа возникал неожиданный пассаж начинавшийся словами: «Однако мы, немцы, лишены недостатков!...» Затем уже шли обстоятельные рассуждения о немцах как народе, преисполненном одних добродетелей и начисто лишенном хотя бы одного изъяна.

Вопреки этому философу отец считал, что высшее проявление национального самосознания – способность трезво судить о своем народе, уметь замечать не только его достоинства, но и, скажем так, не лучшие качества. Такой способностью всегда отличалась русская литература, исполненная, кстати, именно любви к народу.

Еврейский вопрос давно стал большим для таких сравнительно молодых стран, как Польша, Украина и Россия. И в этом, возможно, заключается специфика этого вопроса. Он резко обостряется во времена смут, войн и революций – словом, во времена «умопомрачений», как говаривал Паустовский.

Сам отец был полуукраинец-полуполяк, но считал себя русским писателем, и действительно был таковым. Поэтому еврейский вопрос был актуален также и для него, и ему было что сказать здесь. Отец любил выражение, якобы приписываемое Черчиллю:

– Почему у нас, в Англии, нет антисемитизма? Просто мы не считаем себя хуже евреев.

Речь здесь, по мнению отца, даже не в сравнительных достоинствах наций. Англия – давно уже свободная страна, и англичане привыкли уважать других, как и самих себя. Тем более у них есть что противопоставить евреям и в смысле «практицизма».

Впрочем, проявления антисемитизма и даже расизма все равно можно встретить в Англии, как и в других странах Запада. Отец объяснял это тем, что «умственно неполноценных людей пока везде хватает».

Все три «родины» Паустовского – Украина, Польша, Россия – длительное время испытывали внутренний гнет монархизма, бюрократизма, большевизма и т. д. Это неизбежно привело к искажению массового сознания, к стремлению проявлять амбиции по отношению к тем, кто стоит вровень или ниже тебя на общественной лестнице. Но главное, такой гнет убивает, способность критического отношения к себе, к своим реакциям и поступкам.

Отец не раз отмечал, что отношение к «еврейской теме» даже в просвещенных кругах – резко контрастно, почти без полутонов. Одни чуть не по-черносотенски всячески чествуют евреев, другие, напротив, считают неделикатным даже касаться этой темы. Паустовский не боялся затрагивать этот вопрос и порой делал это без ложной деликатности. Просто он был писательски объективен. В письмах отца того периода, так же как и в дневниках, встречаются саркастические фразы по адресу тех евреев, что стремятся поудобнее устроиться при новом режиме. Но эта ирония всегда носила у него социальный оттенок.

Отец считал, что сами народы ответственны за свои беды – и за плохую власть, и за национальную неприязнь. Причем положи руку на сердце следует признать, что эта ответственность равно раскладывается на всех участников конфликтов по разные стороны баррикад.

Паустовский никогда не придерживался «национального признака» при выборе друзей. Но жизнь его сложилась так, что многие близкие его товарищи оказывались евреями. И он считал это вполне естественным.

Все гимназические годы он сидел за одной партой с Эммануилом Шмуклером, ставшим художником. В этом друге юности отец всегда отмечал душевную чуткость и отрешенность от того, что принято называть «прозой жизни». Затем интеллектуально близким отцу человеком стал Бабель. Но самое длительное приятельство, по существу на протяжении всей дальнейшей жизни, у него установилось с писателем Рувимом Фраерманом, с которым он познакомился как раз в те ранние годы в Одессе, а последние годы его жизни были связаны с Самуилом Алянским, издателем Блока, основателем «Алконоста».

Хочу снова вернуться в одесское лето 1921 года. Тогда, во время дачного застолья, возникало немало тем, любопытных и веселых. Одна из них – и забавно, и всерьез – коснулась жизненного пути Бабеля и, как ни странно, рикошетом задела и меня в детские годы.

Начало эпизода следует отнести к пребыванию моей матери в Париже в 1911 – 1912 годах. Там она изучала французский язык на педагогических курсах «Альянс Франсез», общалась с русскими эмигрантами (в том числе с Луначарским и Лениным) и вынесла из этого общения много поучительного. Отец использовал кое-что из ее парижских впечатлений в незавершенном и неопубликованном романе «Коллекционер».

Здесь же речь о другом. Любопытства ради мама взяла в Париже несколько уроков гадания по руке в школе хиромантии мадам Ленорман.

Еще в конце XVIII века, когда никому не известный молодой офицер Наполеон Бонапарт плыл к своим родственникам на Корсику, на корабле к нему подошла гадалка. Посмотрев на его ладони, она предсказала ему императорский трон и владение всей Европой. Возможно, Наполеон не принял это всерьез, но стимул был получен. Когда пророчество начало сбываться, он разыскал гадалку и озолотил ее. К ней потянулась вся парижская знать. Позже мадам Ленорман (так звали гадалку) основала в Париже школу хиромантии. Дело продолжили ее потомки, у которых мама и «получилась».

Порой мама очень точно гадала по руке своим знакомым. Правда, не всегда охотно, так как очень при этом уставала. Отец, переняв кое-что у нее, тоже пытался гадать, но у него получалось неважно. Видимо, здесь дело не только в знаниях, но и в интуиции.

Однажды дачным вечером мама предсказала Бабелю в ближайшие годы крупный литературный успех и известность, если не мировую, то всеевропейскую. Как Ленорман Наполеону. Это вызвало взрыв восторга и град шуток в адрес Бабеля, все помыслы которого в то время были направлены на то, чтобы опубликоваться в одесских газетах и журналах, не говоря уже о московских.

В свое время для молодого Паустовского открытка, полученная от Бунина, стала своеобразным стимулом упорной работы и преодоления трудностей на тернистом пути писателя. Кто знает? Может, мамино гадание сыграло такую же роль в отношении Бабеля.

Во всяком случае творческий взлет его был стремителен. Уже через пять-шесть лет после памятного дачного лета он обрел всероссийскую, а вскоре и европейскую известность. Вот тогда-то, в конце 1920-х годов, находясь в Париже, Бабель узнал, что у супругов Паустовских в Москве родился сын. Он вспомнил о гадании (а скорее всего и не забывал о нем), немедленно отправился в самые фешенебельные магазины и купил множество детской одежды и игрушек, причем не только для младенческого возраста, но и на вырост, лет до шести-семи.

Для моих родителей это был действительно Подарок с большой буквы. Жили они в то время в подвальчике в Обыденском переулке весьма скудно, чтобы не сказать бедно. А я все раннее детство до поступления в школу щеголял в туалетах лучших французских фирм.

В результате получилась забавная история вполне в «отцовском духе», к тому же совершенно подлинная.

Что сближало Паустовского с Бабелем?

Призвание к писательству. Обычно люди приходят к писательству, уже имея немалый жизненный опыт. Более того, этот опыт и руководит выбором. Но бывают стимулы иного рода –

изначальное внутреннее стремление к писательству, которое можно назвать призванием. Опыт приобретает потом, как бы подкрепляя призвание. Так было и на этот раз.

Бабеля «послал в жизнь» Горький. Паустовский сам понял необходимость этого. Горький был литературным опекуном Бабеля и в духовном отношении сыграл для него такую же роль, как Бунин для Паустовского. В этом «шефстве» двух крупных писателей над двумя начинающими тоже проглядывалось некое объединяющее начало. Только связь Бунина и Паустовского осуществлялась как бы пунктиром и на расстоянии, а Горький непосредственно влиял на писательскую судьбу Бабеля. Еще в 1916 году Горький поместил у себя в журнале «Летопись» его первые рассказы, затем отправил «в люди», в результате чего и родились «Конармия» и другие вещи. Общение Горького и Бабеля возобновилось по возвращении Горького в Россию и продолжалось до самой его смерти в 1936 году.

Горький активно защищал Бабеля от нападок Буденного, заявив, что писатель имеет право на свое видение окружающего, даже если речь идет о доблестных героях Первой конной. Состоялся известный обмен письмами между Буденным и Горьким в печати.

В отличие от Буденного многие бойцы и командиры – прототипы героев «Конармии» всегда относились к Бабелю с теплотой, независимо от того, как они «выглядели» в его рассказах. Отец, со слов Бабеля, пояснял «кто есть кто», где сейчас эти люди работают, чем занимаются. Но их фамилии мало что говорят современному читателю. Поэтому упомяну лишь об известном военачальнике – маршале Семене Тимошенко. Он послужил прототипом одного из самых колоритных героев «Конармии», знаменитого начдива-шесть – Савицкого.

От гражданской войны у Бабеля осталась сильная страсть к лошадям. Он не случайно старался чаще ездить на Северный Кавказ. А отправляясь на подмосковную дачу Горького, неизменно посещал расположенные неподалеку конные заводы. Своей страстью он заразил и Лившица, у которого она воплотилась в любви к конным бегам. Оба стали постоянными посетителями ипподромов.

Особенно же связывало Паустовского с Бабелем то, что можно назвать «чувством языка». Это не только любовь к русскому языку как образному средству выражения мыслей, но и ко многим другим его особенностям, вплоть до его звучания...

В статье «Несколько слов о Бабеле» Паустовский писал:

«Впервые рассказы Бабеля я читал в его рукописях. Я был поражен тем обстоятельством, что слова у Бабеля, одинаковые со словами классиков, со словами других писателей, были более плотными, более зримыми и живописными. Язык Бабеля поражал, или, вернее, завораживал необыкновенной свежестью и сжатостью. Этот человек видел и слышал жизнь с такой новизной, на какую мы были неспособны».

Положа руку на сердце можно сказать, что для Паустовского Бабель был таким же открывателем богатств русского языка, но уже в иную историческую эпоху.

И точно так же Паустовский и Бабель вслед за Буниным именно здесь, в Одессе, в самом начале 20-х годов наблюдали и обратный процесс – начало вырождения русского языка под влиянием политической жизни. В первую очередь это коснулось газет и журналов, затем художественной литературы. Рождалась серость, угодная начальству, но не читателю. Об этом писал Бунин в «Окаянных днях», а Паустовский еще в 1919 году в Киеве записал в дневнике: «Жадно, нервозно читаю газеты – изуверские, писавшиеся в каком-то тихом бешенстве. Сплошная истерика... Какая-то „мертвая вода“...»

В глазах Паустовского русский язык являлся объединяющим, общечеловеческим началом, той «живой водой», что в народных сказках всегда противостоит «воде мертвой».

Он не раз подчеркивал, что процветанию этого языка способствует товарищество писателей разных национальностей и, напротив, обособление их друг от друга («почвенники» и т. п.) приводит к убогости не только языка, но и содержания.

Именно отцу принадлежит известный в свое время афоризм о положении в нашей литературе. Сравнивая писателей с рыцарями, которые в средневековой Англии вели войны между приверженцами орденов Алой и Белой Розы, он говорил: «В литературе, как всегда, идет война между Алой и Серой Розой!»

В одной из глав «Повести о жизни» автор говорит: «Подлинная жизнь, описанная мною, как это ни кажется странным, сама по себе сложилась в те годы по законам драматургии...» И затем добавляет, что центральные части повествования – «Начало неведомого века» и «Время больших ожиданий» – соответствуют наибольшему напряжению действия, его кульминации.

Сами названия этих частей как бы таят в себе тревогу, которую автор и не скрывает. Он словно задается вопросом: что ждет нас впереди?... И в то же время не перестает надеяться на лучшее, на то, что Россия преодолет хаос и несправие, порожденные бурными потрясениями начала века.

Поэтому, подобно Горькому, Паустовский не торопился расставаться со своими «большими ожиданиями», полагая, что разум и человечность возобладают над звериными проявлениями политического сознания, что крайности нового режима сведутся лишь к болезни роста.

Таковыми были его настроения одесского периода 1919 – 1922 годов, времени работы в газете «Моряк», когда он сошелся со многими интересными людьми – моряками, писателями, рабочими, журналистами...

Характерно, что все эти люди, как и Паустовский, жили надеждами, то есть настроением «больших ожиданий».

При всем различии «творческих лиц» было у Бабеля и Паустовского одно несомненное сходство. Каждый обладал сильным даром воображения, а если сказать точнее – преображения. Все мы верим в достоверность Молдаванки, нарисованной Бабелем, и в то же время знаем, что подлинная Молдаванка имеет с ней мало общего. То же самое можно сказать по поводу многих рассказов Паустовского, в особенности ранних его рассказов с экзотической окраской.

В своем предисловии к маленькому сборнику рассказов семи молодых одесситов (Семен Гехт, Лев Славин, Константин Паустовский, Илья Ильф, Эдуард Багрицкий, Осип Колычев и Гребнев), к сборнику, так и не увидевшему свет, Бабель подметил: «Паустовский, попавший на Пересыпь, к мельнице Вайнштейна, необыкновенно трогательно притворяется, что он в тропиках».

Паустовский в свою очередь постоянно подчеркивал специфическое любопытство Бабеля как важнейшее его качество, уже чисто писательское. Это как будто невинное качество часто ставило Бабеля в ситуации самые «чрезвычайные». Он порой устраивал «наблюдательные пункты» в самых невероятных местах, вплоть до бандитских притонов, откуда приходилось уносить ноги с риском для жизни.

Еще в 30-е годы Бабель подарил моим родителям один из вариантов рассказа «В щелочку». Много позже ему удалось также «в щелочку» подглядеть жизнь верхов власти и убедиться, что и там процветают нравы бандитской малины. Это и ускорило его конец.

И вот находятся ныне люди, упрекающие Бабеля за «высокие знакомства». Они забывают, что писательское любопытство – это чувство особого рода, за которое порой приходится расплачиваться и жизнью. Бандиты не любят соглядатаев.

Характерно и то, что годы спустя многие из тех, кто окружал отца в те годы, подобно энтузиасту-редактору газеты «Моряк» Евгению Иванову, будут репрессированы. Такова оказалась участь «надеющихся».

Самого Паустовского подобная судьба миновала, может, даже случайно. Я как-то начал вспоминать людей, которых отец повстречал за свою жизнь, с которыми работал, наконец, просто общался. И затем проследил их судьбы. В «сталинскую мясорубку» попало не менее половины из них. Не исключая и Бабеля.

Отец как и многие его сверстники и единомышленники, считал, что слову «социализм» исконно должно быть присуще «человеческое лицо». Иной социализм людям не нужен. То, что он на практике оказался удобен для эгоистических политиков, а в дальнейшем – для бюрократов с приобретательским звериным сознанием, – не его вина, а беда. Вспомним, что Горький в период Октября называл ведущих большевиков не иначе, как «нелюдь».

Паустовский поначалу с подозрением относился к большевизму, но это вовсе не поколебало его веру в необходимость социализма как более свободного и справедливого государственного строя.

Но большевизму, по мнению отца, так и не удалось освободиться от недостатков прошлых государственных структур – алчности, пренебрежения к личности, глухоте к чужому мнению.

Он считал, что неумение большевизма преодолеть «традиционные недостатки» и превратило его в систему, получившую название «тоталитарной». К сожалению, такие системы возникали и в других странах. И они также нередко клялись термином «социализм».

Однако в те ранние годы этот термин оставался залогом иных возможностей, иных трансформаций. К лучшему, а не к худшему. Поэтому слово «надежда» не теряло своей власти над умами.

Все это объясняет, почему «Время больших ожиданий» не ограничилось для Паустовского одесским периодом. Оно продолжалось значительно дольше и завершилось созданием «Кара-Бугаза» и «Колхиды» уже в начале тридцатых годов. Некоторые особенности работы над этими вещами освещены им самим в «Книге скитаний», последней книге «Повести о жизни».

И хотя после успеха «Кара-Бугаза» и «Колхиды» перед Паустовским открылась широкая дорога преуспевающего советского писателя, он делает резкий поворот. Решительно впредь отказывается от темы социалистического строительства, чтобы, как он говорил, не превратиться в «индустриального дрозда» и не потерять себя как писателя. Так, лишь в середине тридцатых годов он уже окончательно расстается с «большими ожиданиями».

Прервав работу над экранизацией «Колхиды» (фильм так и не вышел на экраны), отец уезжает в Севастополь собирать материал для книги «Черное море». Он опять погружается в столь любимую им обстановку приморского города, вспоминает Одессу начала 20-х годов, подарившую ему дружбу с Бабелем.

Через двадцать лет после их встречи Бабель был арестован и пропал, и Паустовский считал своим долгом рассказать о нем при первой же возможности. Этой возможности пришлось ждать еще двадцать лет.

Имя Бабеля долго оставалось под запретом, а писателям в нашей стране, как и другим деятелям культуры, приходилось выражать свои мысли с оглядкой на указующий перст. Не миновала эта участь и Паустовского, хотя он всячески старался писать так, чтобы не обделить ни себя, ни читателей. Не случайно он намеревался заключительную часть своей автобиографической повести назвать не «Книгой скитаний», а – «На медленном огне». Но ясно, что такое название не прошло бы через цензуру.

Время работы отца над воспоминаниями о Бабеле как раз совпало с его выступлением в 1956 году на обсуждении романа В. Дудинцева «Не хлебом единым». По существу это было первое открытое писательское слово о моральном облике партократии, порожденной большевизмом. Говоря о жертвах тоталитарного режима, отец упоминает и Бабеля. Отождествляя типичного партократа-номенклатурщика с образом героя романа – Дроздова, отец сказал: «... Если бы не было дроздовых, то сейчас с нами, в нашей среде жили и работали бы такие талантливые люди искусства, как Мейерхольд, как Артем Веселый, как Бабель и многие другие. Их уничтожили Дроздовы. Уничтожили во имя собственного вонючего благополучия».

В конце своего предисловия к «Времени больших ожиданий» мне хочется сказать, что замысел автобиографической «Повести о жизни» созрел у отца уже в середине 30-х годов. В журнале «Детская литература» (1937, № 22) была опубликована его статья «Несколько слов о себе». По сути это был ответ на анкетный вопрос журнальной рубрики «Трибуна работников детской книги: писатели о себе». Его статья явилась своеобразной канвой будущих книг «Повести о жизни». Об одесском периоде своей жизни К. Г. Паустовский написал в ней:

«Пришла революция, газетная работа и новые скитания, вызванные гражданской войной. Киев, Полесье, бои с бандами, Одесса – ее пустой порт, ее пустые в то время улицы, где буйно разрасталась акация, работа в газете „Моряк“. Это была необыкновенная газета. В ней было около ста сотрудников – писателей, поэтов, художников, лоцманов, матросов, капитанов и грузчиков. Гонорар платили хлебом и табаком. Крепкий черноморский смех гремел в редакции с утра до ночи. Был голод, но люди смеялись, – будущее шумело вокруг, каждый день был талантлив и свеж Багрицкий приносил в редакцию свои стихи и пел их своим хриплым взволнованным голосом.

В Одессе я впервые начал писать. Тогда в Одессе начали писать Бабель и Катаев, Ильф и Олеша, Багрицкий и Гехт. Я никогда не забуду работу Бабеля над словом. Я наблюдал ее и понял, что каждое слово включает в себе великие опасности и вместе с тем великие возможности для писателя. Для точного владения словом нужен беспощадный вкус, строгость.

Из Одессы я уехал на юг на старом пароходе, груженном минами. Девять дней нас мотало в открытом море ледяным штормом. Мы погибали и взывали о помощи по радио, но никто не мог нам помочь – весь флот был уведен белыми за границу».

Среди бумаг отца я нашел еще один любопытный листок, который, как и предыдущая статья в «Детской литературе», проливает свет над замыслом его автобиографического произведения, в том числе и об одесской жизни. Этот листок можно рассматривать как своего рода план «Рассказа ассоциаций». Есть у рассказа и подзаголовок: «Опыт автобиографии». Первая строка плана начинается с перечисления: «Киев Гимназия каштаны [нрзб.] Вертинский». Одесский ряд представляет собой следующую цепочку записей: «Гюль-Назаров Одесса [нрзб.] с Лифшицем [нрзб.] перед морем Дом Ландесмана бегство белых Опродкомгуб Юшкевич Моряк Кривоходкин чисто в порту Лукагер (эта фамилия вначале записана, а затем зачеркнута) берега Аркадии на 16 станции [нрзб.] голод истории...»

И еще о замысле. Меня не покидает удивление, что жизнь героя в Одессе разбита писателем как бы на два периода. Первый описан в заключительных главах повести «Начало неведомого века», после того, как Паустовский прибыл в Одессу в начале ноября 1919 года. Тогда же он знакомится с журналистом Александром Гюль-Назарьянцем (в повести - Назаров). Второй период, собственно, и составляет целиком книгу «Времени больших ожиданий» с включением в нее в конце двух «севастопольских» глав. Такое деление, в общем-то, естественно: первые события проходят в основном до советской власти, а «Время...» – при ее становлении. И все же если новый, молодой читатель, впервые соприкасающийся с творчеством Константина Паустовского, возьмет в руки книгу «Время больших ожиданий» – отдельно как таковую, – то его впечатление будет несколько обеднено.

Поэтому при издании повести «Время больших ожиданий» отдельной книжкой необходимо включить в нее одесские фрагменты глав «О фиринке, водопроводе и мелких опасностях», «Последняя шрапнель» – из повести «Начало неведомого века». Такой подход вполне оправдан, так как при этом не нарушается авторский замысел писателя и в то же время читатель не будет обделен и обеднен в своих впечатлениях.

Теперь последнее. При публикации шести книг «Повести о жизни» в двухтомнике Гослитиздата в 1962 году Константин Паустовский поместил короткое предисловие «Несколько слов», фрагментом из которого мне и хотелось бы закончить свое затянувшееся повествование:

«Недавно я перелистывал собрание сочинений Томаса Манна и в одной из его статей о писательском труде прочел такие слова:

*Нам кажется, что мы выражаем только себя, говорим только о себе, и вот оказывается, что из глубокой связи, из инстинктивной общности с окружающим, мы создали нечто сверхличное... Вот это сверхличное и есть лучшее, что содержится в нашем творчестве».*

Эти слова следовало бы поставить эпиграфом к большинству автобиографических книг.

## Фрагменты глав из повести «НАЧАЛО НЕВЕДОМОГО ВЕКА»

### Из главы «О ФИРИНКЕ, ВОДОПРОВОДЕ И МЕЛКИХ ОПАСНОСТЯХ»

...Света в Одессе было мало, фонари зажигали поздно, а то и совсем не зажигали, и, бывало, по тихим осенним вечерам один только багровый жар жаровен освещал тротуары. Этот свет снизу придавал улицам несколько феерический вид.

...Найти жилье в Одессе было очень трудно, но нам повезло. На Ланжероне, на маленькой и пустынной Черноморской улице, тянувшейся по обрыву над морем, был частный санаторий для нервных доктор Ландесмана. Неустойчивая и пестрая жизнь тех лет вызывала бурный рост нервных болезней, но ни у кого не было денег, чтобы лечиться, особенно в таком дорогом санатории, как у Ландесмана. Поэтому санаторий был закрыт.

Назаров встретил в Одессе знакомую женщину – невропатолога из Москвы, – и она устроила нас в этот пустой санаторий. Ландесман – весьма величественный и учтивый человек – отвел нам две небольшие белые палаты с условием, что мы будем охранять санаторий. Мы должны были следить, чтобы не рубили на дрова небольшой сад около санатория и не растаскивали по частям самый дом.

Отопление в санатории не работало, комната у меня была очень высокая, с широкими окнами, и потому маленькая железная «буржуйка», как ни старалась, никогда не могла нагреть эту комнату. Дров почти не было. Изредка я покупал акациевые дрова. Продавали их на фунты. Я мог осилить не больше трех-четыре фунтов, – не было денег.

... Я опять работал корректором в газете (название ее я позабыл)<sup>1</sup>. Издавал эту газету академик Овсяннико-Куликовский. Работал я через два дня на третий и получал очень мало «колоколов» – так назывались тогда денкинские деньги с изображением Царь-колокола в Кремле.

---

<sup>1</sup> Издавал эту газету академик Овсяннико-Куликовский. Название газеты мы теперь знаем – «Современное слово». Это установил одесский литературовед и исследователь Никита Брыгин. В газете за подписью «К. П.» был напечатан очерк Паустовского «Киев – Одесса». Редакция газеты размещалась в Одессе на Екатерининской площади, 7. Газета выходила ежедневно, имела собственных корреспондентов в Киеве, Ростове-на-Дону, Харькове, Севастополе и Константинополе. В редакции «Современного слова» работали тогда известные литераторы – Аркадий Аверченко, Андрей Соболев и другие. Среди начинающих – Вера Инбер. Кстати, в этой редакции Паустовский близко увидел своего кумира – Ивана Бунина, но так и не решился заговорить с ним. Путевой очерк Константина Паустовского «Киев – Одесса» совершенно неизвестен современному читателю. С момента первой публикации очерк ни разу не перепечатывался, не входил ни в одно собрание сочинений писателя. Почему? Одна-единственная фраза в нем – о большевиках, которые пытались «соединиться с бандами», – такая фраза могла обернуться для Паустовского непредсказуемыми последствиями. Каким же образом в прессе появился очерк? Осень 1919 года застала Паустовского в Киеве, в городе – денкинцы. Белые успешно продвигаются к Москве. Деникинский генерал Бредов объявил мобилизацию в вооруженные силы Юга России – поголовно всех мужчин до 40-летнего возраста. Паустовский решил избежать принудительной солдатчины. Восемнадцать суток добирался он до южного города в изрешеченной тлями теплушке полуразбитого поезда. Пассажиры постоянно ощущали угрозу обстрела, страх от реальной возможности захвата состава бандитами. Все, что людям довелось пережить в пути, – события грустные, порой трагические – в сжатой, емкой форме и легли в основу материала Паустовского. Фрагменты путевого очерка Константина Паустовского из этого номера газеты (№ 45) от 5 (18) декабря 1919 года читателям и представляю. *КИЕВ – ОДЕССА... В желтом, грязном тумане – притихший, встревоженный город, тусклое золото его куполов, близкие и гулкие раскаты орудий и по ночам, за мутными пятнами стационарных фонарей – злая зимняя тьма, родящая жуть, тревогу, тихую, саднящую тоску. Здесь, на ржавых разбитых путях, около остывших паровозов, в стационарных помещениях – прокуренных, служамилиткой грязи на полу, в густо заселенных, дымящих жестиными трубами товарных вагонах – вся русская жизнь, как в призме. Жизнь растревоженной, измученной, одичалой страны. Стоим. За Ирпнем сердито ворчат орудия. Ждем паровозов. Изредка мимо нас проползает маневровый паровоз, пуская пар изо всех щелей. Но это не то. Мы ждем пассажирских. Наконец, паровозы пришли. Тогда нас начинают катать по путям. Катают два дня, передавая из парка в парк, делая на стенах какие-то загадочные пометки мелом, сцепляют, вновь расцепляют и, наконец, загоняют в какой-то безнадежный тупик, среди скелетов пассажирских вагонов с выбитыми*

Мне нравилась жизнь в гулком особняке над морем, нравилось полное одиночество и даже как будто зернистый, пахнувший морской солью холодный воздух в его стенах.

...Тогда в Одессе мной завладела мысль о том, чтобы провести всю жизнь в странствиях, чтобы сколько бы мне ни было отпущено жизни -много или мало, – но прожить ее с ощущением постоянной новизны, чтобы написать об этом много книг со всей силой, на какую я способен, и подарить эти книги, подарить всю землю со всеми ее заманчивыми уголками – юной, но еще не встреченной женщине, чье присутствие превратит мои дни и годы в сплошной поток радости и боли, в счастье сдержанных слез перед красотой мира – того мира, каким он должен быть всегда, но каким редко бывает в действительности.

...После каждого прорыва на фронте Одесса заполнялась дезертирами. Кабаки гремели до утра. Там визжали женщины, звенела разбитая посуда и гремели выстрелы, – побежденные сводили счеты между собой, стараясь выяснить, кто из них предал и погубил Россию. Белые черепа на рукавах у офицеров из «батальонов смерти» пожелтели от грязи и жира и в таком виде уже никого не пугали.

...Три тысячи бандитов с Молдаванки во главе с Мишей Япончиком грабили лениво, вразвалку, неохотно. Бандиты были пресыщены прошлыми баснословными грабежами. Им хотелось отдохнуть от своего хлопотливого дела. Они больше острили, чем грабили, кутили по ресторанам, пели, плача, душераздирающую песенку о смерти Веры Холодной:

Бедный Рунич горько плачет –  
Вера лежит в гробу.

Рунич был партнером Веры Холодной. По тексту песни, Вера лежала в гробу и просила Рунича:

Голубыми васильками

---

*окнами, с сорванными с петель дверьми, снова стоим. Наш путь на Фастов закрыт. Большевики, отступая на север, рванулись в сторону и захватили станцию Мотовиловку, пытаются соединиться с бандами, орудовавшими вблизи города. На расвете приходит серый, стальной бронепоезд. Солдаты рассказывают, что Мотовиловка отбита, банды разогнаны и чины, и штаб их повешены в Жулянах под Киевом. Путь свободен. Вечером, после недельной стоянки, мы отходим. Наш поезд первый должен пройти по только что очищенной линии до Фастова и Белой Церкви. На паровозе ставят охрану. В глубокой темноте перекликаются патрульные офицеры. И всю ночь мы медленно, крадучись, ползем до Фастова с потушенными огнями. Изредка заглушено свистит паровоз. Туман сошел, и на черных пустых станциях с развороченными окнами, с остовами разрушенных водокачек, в тишине гулко и раскатиисто колыхают одиночные выстрелы. Мы идем вдоль линии фронта. Здесь со стороны большевиков стоят сбродные части. Есть даже два махновских пачка. Обмундированы они отвратительно. Вчера вели партию отчаянно ругавшихся пленных, в галошах на босу ногу, в лаптях, в «цыганских» рваных шинелях, даже в женских теплых кофтах. Это не армия, а, как сказал нам веселый, рыжеватый солдат-артиллерист, – «настоящее босячье». Фастов – сплошные развалины. Здесь только что стих бой, еще свежи следы пуль, еще стоит сладковато-горький, удушливый запах пожарища. За седой, в тополях и зимней изморози, Белой Церковью пошли гиблые места, наводненные мелкими бандами. По пути к поезду выходят «дядьки» и чудом уцелевшие местные интеллигенты – агрономы, священники, учителя. Как нищие бродят около вагонов, выпрашивая газеты. Жадно спрашивают о Киеве, рассказывают о налетах банд, разбегжающихся по деревням на подводах с пулеметами, о разных Коцурах, Федоренко, подмахновцах, о развигченых рельсах и обстрелах поездов. Сами грузим дровами паровоз, сами накачиваем воду в тендер. Патрули ходят около вагонов, зорко всматриваясь в небольшие толпы крестьян, угрюмо и долго глазающих на поезд. За Бобринской начинается «египетская казнь» – нашествие одесских мешочников. Мешочники – это фанатики. Рискают жизнью, ругаясь, крича до хрипоты, изредка вступая в жестокие драки, они лезут на буфера, тормоза, крыши, тендер стихийно и неудержимо. Борются с ними нельзя. Паровоз весь облеплен мешками, впереди котла на площадку они взгромоздили комод – «один дядько везет в подарок дочке» – и сидит на нем, щелкая подсолнухи. На промежуточных станциях они с пеной у рта отбивают атаки новых волн мешочников, становясь яркими законниками и ссылаясь поминутно на коменданта поезда и железнодорожные правила. На подъемах, когда паровоз едва ползет и через каждые 300-400 саженей останавливается «набирать пар», они с гиком, смехом и свистом бегут рядом с поездом и дико топчут ногами – греются. Около Помошной неспокойно. Патрули с паровоза сообщают, что поезд преследует какой-то подозрительный разъезд. Начинается беженая гонка, и разъезд отстает. По сторонам пути – следы крушений, перевернутые вагоны, изогнутые рельсы. Здесь проходил Махно. Все крупные станции – сплошные кладбища паровозов, стоящих длинными веренищами на запасных путях и ржавеющих от дождя и ветра. За Помошной кончается полоса разрушенных станций, разбитых путей, грязи и случайностей.*

Грудь мою обвей  
И горячими слезами  
Грудь мою облей.

Однажды я шел вечером из типографии к себе на Черноморскую с петроградским журналистом Яковом Лифшицем. Бездомный Лифшиц стал третьим жильцом санатория Ландесмана.

У маленького, беспокойного и взъерошенного Лифшица была кличка «Яша на колесах». Объяснялась эта кличка необыкновенной походкой Лифшица: он на ходу делал каждой ступенью такое же качательное движение, какое, например, совершает пресс-папье, промокая чернила на бумаге. Поэтому казалось, что Яша не идет, а быстро катится. И ботинки у него походили на пресс-папье или на часть колеса, – подметки у них были согнуты выпуклой дугой.

Мы шли с «Яшей на колесах» на Черноморскую, выбирая тихие переулки, чтобы поменьше встречаться с патрулями. В одном из переулков из подъезда вышли два молодых человека в одинаковых жокейских кепках. Они остановились на тротуаре и закурили. Мы шли им навстречу, но молодые люди не двигались. Казалось, они поджидали нас.

- Бандиты, – сказал я тихо Яше, но он только недоверчиво фыркнул и пробормотал:
- Глупости! Бандиты не работают в таких безлюдных переулках. Надо их проверить.
- Как?
- Подойти и заговорить с ними. И все будет ясно.

У Яши была житейская теория – всегда идти напролом, в лоб опасности. Он уверял, что благодаря этой теории счастливо избежал многих неприятностей.

- О чем же говорить? – спросил я с недоумением.
- Все равно. Это не имеет значения.

Яша быстро подошел к молодым людям и совершенно неожиданно спросил:

- Скажите, пожалуйста, как нам пройти на Черноморскую улицу?

Молодые люди очень вежливо начали объяснять Яше, как пройти на Черноморскую. Путь был сложный, и объясняли они долго, тем более что Яша все время их переспрашивал.

Яша поблагодарил молодых людей, и мы пошли дальше.

- Вот видите, – сказал с торжеством Яша. – Мой метод действует безошибочно.

Я согласился с этим, но в ту же минуту молодые люди окликнули нас. Мы остановились. Они подошли, и один из них сказал:

– Вы, конечно, знаете, что по пути на Черноморскую около Александровского парка со всех прохожих снимают пальто.

- Ну уж и со всех! – весело ответил Яша.

– Почти со всех, – поправился молодой человек и улыбнулся. – С вас пальто снимут. Это безусловно. Поэтому лучше снимите его сами здесь. Вам же совершенно все равно, где вас разденут – в Александровском парке или в Канатном переулке. Как вы думаете?

- Да, пожалуй... – растерянно ответил Яша.

- Так вот, будьте настолько любезны.

Молодой человек вынул из рукава финку. Я еще не видел таких длинных, красивых и, очевидно, острых, как бритва, финок. Клинок финки висел в воздухе на уровне Яшиного живота.

– Если вас это не затруднит, – сказал молодой человек с финкой, – то выньте из кармана пальто все, что вам нужно, кроме денег. Так! Благодарю вас! Спокойной ночи. Нет, нет, не беспокойтесь, – обернулся он ко мне, – нам хватит и одного пальто. Жадность – мать всех пороков. Идите спокойно, но не оглядывайтесь. С оглядкой, знаете, ничего серьезного не добьешься в жизни.

Мы ушли, даже не очень обескураженные этим случаем. Яша всю дорогу ждал, когда же и с меня снимут пальто, но этого не случилось. И Яша вдруг помрачнел и надулся на меня, будто я мог знать, почему сняли пальто только с него, или был наводчиком и работал «в доле» с бандитами.

...Вообще Яше сильно не везло. Назаров уверял, что Яша принадлежит к тому редкому типу людей, которые приносят неудачу...

...Я только посмеялся над Назаровым, за что вскоре и был жестоко наказан.

Чтобы точно представить себе то, что случилось, надо сказать несколько слов о Стурдзовском переулке. Путь на Черноморскую шел по этому переулку. Его никак нельзя было обойти.

Этот переулок, названный именем известного во времена Пушкина иезуита Стурдзы, всегда вызывал у нас ощущение скрытой опасности. Может быть потому, что на него выходили только каменные стены обширных садов. С другой стороны сады обрывались к морю. Эти глухие стены не давали никакой защиты, никакого укрытия. В то время у всех выработалась привычка, идя по улице, заранее намечать себе ближайшее укрытие на случай стрельбы или встречи с пьяным патрулем.

В Стурдзовском переулке не было ни одного укрытия, если не считать единственного двухэтажного дома с узкой темной подворотней. В доме никто не жил. За выломанными оконными рамами разрастался бурьян.

Я не внял предостережению Назарова и однажды поздним осенним вечером опять возвращался домой с Яшей.

Ходить вечером по улицам можно было, только строго соблюдая ряд неписаных законов. Нельзя было курить, разговаривать, кашлять и стучать каблуками по тротуару. Идти, вернее пробираться, надо было под стенами или в тени от деревьев. Каждые сорок или пятьдесят шагов следовало останавливаться, прислушиваться и вглядываться в темноту. На перекрестках полагалось осмотреть пересекающую улицу и переходить перекресток очень быстро.

Мы благополучно дошли до Стурдзовского переулка, остановились, выглянув из-за угла, и долго прислушивались и всматривались в его кромешную темноту. С одной стороны, темнота была спасительной: она скрывала нас. Но, с другой стороны, она была опасна тем, что мы могли наткнуться на засаду.

Все было тихо, так тихо, что мы слышали в глубине переулка слабый шум прибоа.

Мы крадучись пошли по переулку. Я сказал, что надо идти по той стороне, где подворотня, не доходя до нее остановиться, хорошо прислушаться, а затем быстро и беззвучно проскочить мимо подворотни. Расчет, по-моему, был математически точен. Если в подворотне есть люди, то они могут нас и не заметить. Если же мы будем идти по противоположной от подворотни стороне, то нас могут заметить еще издали. Я высчитал, что в последнем случае мы будем идти против опасной подворотни, или, вернее, будем на виду у людей, спрятавшихся в подворотне, в пять раз дольше. И, следовательно, будет в пять раз больше шансов, что нас заметят.

Но Яша опять начал шепотом разводить свою теорию, что всегда надо идти в лоб опасности. Я не спорил с ним, чтобы не подымать лишнего шума, и мы пошли по противоположной стороне от подворотни.

Яша считал про себя секунды. Мы знали, что от Стурдзовского переулка до санатория Ландесмана было семь минут ходьбы. В санатории за высокой оградой и железными воротами мы всегда чувствовали себя в полной безопасности. Особенно если не зажигали коптилок.

Когда мы проходили около подворотни, Яша споткнулся. Потом, когда мы вспоминали о происшествии в Стурдзовском переулке, Яша утверждал, что всегда, если хочешь сделать что-нибудь наилучшим образом, то обязательно сорвешься на пустяковине. Я же про себя думал, что всему виной была Яшина невыносимая походка. Но я молчал, чтобы не огорчать Яшу.

Как бы там ни было, но Яша споткнулся и от неожиданности, вместо того чтобы выругаться про себя, сказал внятным и растерянным голосом:

– Извиняюсь!

– Стой! – закричал из подворотни сиплый голос, и на нас упал режущий свет электрического фонарика. – Вынуть руки из карманов! Немедленно, матери вашей черт!

К нам подошли несколько вооруженных. Это был казачий патруль.

– Документы! – сказал тот же сиплый голос.

Я протянул свое удостоверение. Казак посветил на него, потом на меня.

– Пиндос, – определил он. – Скумбрия с лимончиком! Бери свою липу обратно.

Он отдал мне удостоверение и посветил на Яшу.

– А ты можешь не показывать, – сказал он, – сразу видать, что иерусалимский генерал.

Ну ладно. Проходите!

Мы сделали несколько шагов.

– Стой! – вдруг истерически закричал тот же казак. – Ни с места!

Мы остановились.

– Чего стали! Сказано вам – проходи!

Мы снова пошли, но очень медленно, чтобы не выдавать свое волнение. Нервы были напряжены с такой силой, что спиной, всем телом я чувствовал, как казаки взводят затворы. Щелканья затворов я не слышал. Я понимал, что это – предсмертная игра кошки с мышью, что нас все равно убьют и что каждое мгновение может быть последним.

– Стой! Так вашу мать! – снова закричал казак. Остальные сдержанно засмеялись.

Мы снова остановились около стены. Я ее не видел в темноте, но я знал, что она сложена из грубого камня и на ней есть выступы и выбоины.

– Лезьте через стену, – сказал я шепотом Яше. – Одним рывком! Все равно конец!

Я был худой. Мне легко было быстро влезть на стену. Но Яша со своими ботинками-колесами чуть не сорвался. Я схватил его за руку и рванул. Мы перекинули ноги через стену и спрыгнули. Позади загрохотали частые выстрелы. С верхушки стены полетел битый камень.

Мы бросились через темный сад. Стволы деревьев, вымазанные известкой, белели в темноте, и это нам помогло.

Казаки лезли через стену вслед за нами. Пуля свистнула где-то рядом. Мы добежали до противоположной стены сада. В ней был пролом.

Казаки уже бежали по саду, но они теряли время на то, чтобы прикладываться к винтовкам, и мы успели выскочить в пролом. В трех шагах от него был крутой обрыв к морю.

Мы скатились с обрыва и бросились вдоль берега. Казаки стреляли сверху, но они уже потеряли нас в темноте, и пули шли в сторону.

Мы долго пробирались по берегу, изрытому оврагами и пещерами. Прибой все так же равнодушно и сонно рокотал по гальке. Трудно было поверить, что человек может бессмысленно убить такого же, как он, человека перед лицом этой осенней, теплой, пахнущей чабрецом ночи, перед лицом шумящего спокойными волнами моря. По наивности своей я думал тогда, что зло всегда отступает перед красотой и что нельзя убить человека на глазах у Сикстинской мадонны или в Акрополе.

Смертельно хотелось курить. Выстрелы стихли. Мы залезли в первую же пещеру и закурили. Пожалуй, никогда в жизни я не испытывал такого наслаждения от папиросы.

Часа три мы просидели в пещере, потом вышли и крадучись пошли по берегу к санаторию Ландесмана. Все вокруг было тихо.

Против санатория мы, цепляясь за кусты и камни, влезли по отвесному обрыву к высокой крепостной ограде санатория. В цоколе ограды было пробито круглое отверстие для стока дождевой воды. Мы пролезли в него, потом завалили его камнями, хотя это было совершенно ненужно, и вошли в дом.

Назаров не спал. Он оторопел от нашего рассказа. В ванной, где не было окон, мы зажгли коптилку и впервые увидели себя. Платье было порвано, руки изодраны в кровь. Но, в общем, мы легко отделались от смерти.

Мы жадно напились чаю и опьянели. Конечно, не от чая, а от удивительного, ни с чем не сравнимого, какого-то невесомого чувства безопасности. Если есть полное счастье, то оно было в ту ночь с нами.

Мне хотелось насколько возможно продлить это чувство. Я оделся, взял одеяло и пошел в лоджию – глубокую нишу на втором этаже с выступающим балконом. В лоджии было темно. Ветер не проникал в нее, и меня никто не мог заметить с улицы.

Я сел в плетеный шезлонг, закутался в одеяло и так просидел до рассвета, прислушиваясь к звукам ночи.

## Из главы «ПОСЛЕДНЯЯ ШРАПНЕЛЬ»

С каждым днем жизнь в Одессе становилась тревожнее. Бои с советскими частями шли уже под Вознесенском.

В Константинополь отходили пароходы, переполненные беглецами. Почти все эти пароходы – грязные, с облезлой черной краской на бортах – выползали из порта с большим креном, были нагружены выше ватерлинии и так густо дымили, что этим дымом заволакивало весь Ланжерон и нашу Черноморскую улицу.

Но газеты еще выходили. Белое командование знало, что конец приближается буквально по часам, но всеми силами скрывало это от населения, особенно от беглецов с севера. В газетах печатались телеграммы о том, что наступление большевиков приостановлено и в Одессу отправлены из Салоник крупные французские воинские части с артиллерией и газами.

...Однажды к нам в редакцию пришел Бунин. Он был обеспокоен и хотел узнать, что происходит на фронте. Стоя в дверях, он долго стаскивал с правой руки перчатку. На улице шел холодный дождь, кожаная перчатка промокла и прилипла к руке.

Наконец он стянул перчатку, мельком осмотрел серыми спокойными глазами дымную комнату, где мы сидели, и сказал:

– Да, у вас небогато.

Мы почему-то смутились, а Назаров ответил:

– Какое уж тут богатство, Иван Алексеевич. На ладан дышим.

Бунин взял стул и подсел к столику Назарова.

– Кстати, – сказал он, – вы не знаете, откуда взялось это выражение «дышать на ладан»?

– Нет, не знаю.

– В общем – конец! – сказал Бунин и помолчал. – Дождь, холод, мрак, а на душе спокойно. Вернее, пусто. Похоже на смерть.

– Вы загрустили, Иван Алексеевич, – осторожно сказал Назаров.

– Да нет, – ответил Бунин. – Просто неуютно стало на этом свете. Даже море пахнет ржавым железом.

Он встал и ушел в кабинет редактора.

С юных лет я любил Бунина за его беспощадную точность и печаль, за его любовь к России и удивительное знание народа, за его мудрое восхищение миром со всей его разнообразной красотой, за зоркость, за ясное бунинское ощущение, что счастье находится всюду и дано только знающим. Уже в то время Бунин был для меня классиком. Я знал наизусть многие его стихи и даже отдельные отрывки из прозы. Но выше всего по горечи, по страданию и безошибочному языку я считал маленький рассказ – всего в две-три страницы – под названием «Илья-пророк».

Поэтому сейчас я боялся сказать при нем хотя бы слово. Мне было просто страшно. Я опустил голову, слушая его глухой голос, и только изредка взглядывал на него, боясь встретиться с ним глазами.

Много лет спустя я прочел «Жизнь Арсеньева». Некоторые главы этой книги стали для меня чем-то более высоким, чем самая совершенная поэзия и проза. Особенно то место, где Бунин говорит о костях своей матери, зарытых в глинистой и холодной елецкой земле, о неизбежной потере единственно любимых людей, об отчаянии этой любви и бедном сердце, тяжело бьющемся в пустоте жизни. Он знал простые слова, разрывающие наше сердце:

Плакала ночью вдова:

Нежно любила ребенка, но умер ребенок.

Плакал и старец-сосед, прижимая к глазам рукава,

Звезды слезами текут с небосклона ночного.

Плакала мать по ночам.

Плачущий ночью к слезам побуждает другого:

Звезды светили, и плакал в закуте козленок,

Плачет Господь, рукава прижимая к глазам.

Бунин вскоре ушел. Я не мог больше работать, править высосанные из пальца и безграмотные заметки одесских репортеров и ушел к себе на Черноморскую.

...Яша вбежал ко мне в комнату. Пришел Назаров. Яша кричал, что белые бегут без единого выстрела, что в порту – паника, что французский крейсер бьет в степь наугад и что нужно немедленно захватить самое необходимое, сложить маленький чемодан и идти в порт. Там уже началась посадка на пароходы.

– Ну и что же, – сказал я ему. – Идите. Это – дело вашей совести. Но я считаю, что никогда и ни при каких обстоятельствах нельзя бросать свою страну. И свой народ.

– Да, – добавил Назаров. – Жизнь вне России не имеет никакой цены и никакого смысла. А если ваша жизнь, Яша, уж так драгоценна, – не знаю для кого, – так бегите, черт с вами.

– Глупости! – пробормотал Яша и покраснел до того, что на глазах у него выступили слезы. – Все бегут. Это меня засосало. Ну, конечно же, я никуда не уеду.

Решения в то время требовали быстроты. Одна минута колебания могла исковеркать всю жизнь или спасти ее.

Яша остался. Он бурно радовался тому, что ни о чем уже не надо думать и не надо колебаться. Он даже вскипятил чай, мы наспех выпили его и пошли в Александровский сад.

...Я долго потом не мог отделаться от гнетущего ощущения, будто я уже видел на картине какого-то беспощадного художника это гомерическое бегство, эти рты, разорванные криками о помощи, вылетающие из орбит глаза, зеленые от ужаса лица, глубокие морщины близкой смерти, слепоту страха, когда люди видят только одно – шаткие сходни парохода со сломанными от напора человеческих тел перилами, приклады солдат над головами, детей, поднятых на вытянутых материнских руках над обезумевшим человеческим стадом, их отчаянный плач, затоптанную женщину, еще извивающуюся с визгом на мостовой...

Люди губили друг друга, не давая спастись даже тем, кто дорвался до сходней и схватился за поручни. Несколько рук тотчас вцеплялись в такого счастливец, повисали на нем. Он рвался вперед, тащил за собой по сходне беглецов, но тут же срывался, падал вместе с ними в море и тонул, не в силах освободиться от своего живого и страшного груза.

...Над мостиком одного из пароходов вырвалась к серому небу струя пара, и раздался дрожащий густой гудок. Тотчас, подхватив этот гудок, закричали на разные голоса все остальные пароходы. То были прощальные отходные гудки.

1956

## ПРЕДКИ ОСТАПА БЕНДЕРА

Февральский день 1920 года во время пронзительного норда деникинцы бежали из Одессы, посплав напоследок в город несколько шрапнелей. Они лопнули в небе с жидким звоном.

Белые оставили после себя опустошенный город. Ветер наваливал около водосточных труб кучи паленой бумаги и засаленных деникинских денег. Их просто выбрасывали. На них нельзя было купить даже одну маслину. Магазины закрылись. Сквозь окна было видно, как толпы рыжих крыс-«пацюков» судорожно обыскивали пыльные прилавки. Базарные площади – все эти Привозы, Толчки и Барахолки – превратились в булыжные пустыни. Только кошки, шатаясь от голода, неуверенно перебежали через эти площади в поисках объедков. Но ни о каких объедках в то время в Одессе не могло быть и речи.

Жалкие остатки продовольствия исчезли мгновенно. Холод закрадывался в сердце при мысли, что в огромном и опустелом портовом городе ничего нельзя достать, кроме водопроводной воды с привкусом ржавчины. Водопровод каким-то чудом еще качал из Днестра тонкую струю этой воды.

Я жил в то время в Одессе, в пустом санатории доктора Ландесмана на Черноморской улице.

Вместе со мной в санатории поселилось несколько журналистов. В их числе был и петроградский журналист Яша Лифшиц – человек чрезмерно деятельный и не интересовавшийся ничем на свете, кроме политики и газетной работы. О нем я писал в предыдущей своей автобиографической повести «Начало неведомого века».

Незадолго до прихода советских войск Яша сказал мне, что надо выметаться от Ландесмана, так как большевики, когда войдут в Одессу, санаторий национализуют, а нас все равно выкинут.

– Возможны крупные неприятности! – произнес Яша роковым голосом.

Какие могут быть неприятности, он не объяснил. Но так как в те времена ожидание неприятностей было повседневным состоянием людей, то я его и не спрашивал.

Мы с Яшей сняли по соседству с санаторием дворницкую у оборотистого домовладельца, священника-расстриги Просвирняка.

Дворницкая стояла в заглухшем саду, окруженном высокой оградой из камня «дикаря». Со стороны улицы ее защищал двухэтажный дом. Жить в этой дворницкой в то немирное время было спокойно, как в крепости. Недаром сам Просвирняк называл дворницкую «Форт Монте-Кристо».

До нас Просвирняк сдавал дворницкую профессору Новороссийского университета по кафедре политической экономии, обрусевшему немцу Швиттау. Профессор переделал дворницкую под маленький удобный особняк, окружил его куртинами маргариток, перевез в дворницкую свою библиотеку, но вскоре, предчувствуя приближение опасных времен, бросил все и бежал в Константинополь.

Профессорская библиотека состояла почти сплошь из немецких книг по экономике, таких аккуратных, что казалось, к ним ни разу никто не прикасался. К тому же они представлялись мне невероятно скучными из-за своего готического шрифта.

Книги источали острый запах лизола и гвоздики. С тех пор этот запах стал для меня признаком вяжущей скуки, в особенности запах гвоздики – черных, похожих на маленькие обойные гвозди семян тропического растения.

Но зато в библиотеке у профессора стояли все восемьдесят шесть томов энциклопедического словаря Брокгауза и Эфрона. Это было завидное богатство.

Живя среди книг и вещей, оставленных Швиттау, я за глаза составил представление об этом профессоре. Он, конечно, был доволен собой, чисто умыт, румян, носил русую бородку и золотые очки, и в глазах его присутствовал тот водянистый блеск, какой бывает у застарелых девственников. Мне был неприятен этот мой воображаемый предшественник. Поэтому при каждом удобном случае я держал окна открытыми настежь, чтобы выветрить из дворницкой добропорядочный профессорский дух.

Прежде чем перейти к описанию дальнейших событий, следует сказать несколько слов о Черноморской улице. Я полюбил эту маленькую окраинную улицу и был уверен, что она самая живописная в мире.

Самый путь из города на Черноморскую улицу был своего рода лекарством от невзгод. Я часто испытывал это на себе. Иногда я возвращался из города в полном унынии из-за какой-нибудь неудачи. Но стоило мне войти в безлюдные переулки, окружавшие Черноморскую, – в Обсерваторный, Стурдзовский или Батарейный, – услышать шелест старых акаций, увидеть темный плющ на оградах, освещенных золотеющим солнцем зимы, почувствовать веяние моря на своем лице, и тотчас возвращались спокойствие и душевная легкость.

Все эти переулки состояли из оград. Дома скрывались в глубине садов за глухими калитками. Переулки приводили на Черноморскую улицу. Она тянулась по краю высокого обрыва над морем. Слово «тянулась» здесь вряд ли подходит, так как улица была недлинная. Ее можно было пройти за несколько минут.

С Черноморской улицы открывалось море – великолепное во всякую погоду. Слева внизу были хорошо видны Ланжерон и Карантинная гавань, откуда уходил, изгибаясь, в море обкатанный штормами старый мол. Справа крутые рыжие берега, поросшие лебедой и пыльной марью, шли к Аркадии и Фонтанам, к туманным пляжам, где море часто выбрасывало сорванные с якорей плавучие мины.

Черноморская улица была морским форпостом Одессы. Мимо нее проходили все пароходы, шедшие в порт и уходившие из него. Шум ее садов говорил о разной силе ветра. Мы научились определять ветер по этому шуму, как моряки по шкале Бофорта.

Существовали и другие звуки, даже незначительные, но и они сообщали нам о состоянии погоды. Так, например, частый стук созревших каштанов о тротуар свидетельствовал, что ветер крепчает и доходит до четырех баллов.

Черноморская улица всегда была безлюдна. Редкие ее обитатели предпочитали сидеть дома. Поэтому когда на ней появился однажды черный угольщик со своей ключей, то это было встречено как фантастическое событие. Прежде всего потому, что древесный уголь в то время продавался на вес золота. И еще потому, что угольщик, бесстрашно разоблачая свою частно-торговую сущность, кричал мохнатым, мрачным голосом ласковые слова:

– Вот уголь, уголек, уголечек!

Среди неуютного быта тех дней Черноморская улица казалась хотя и обманчивым, но все же «островом спасения» для заброшенных на нее жизненной бурей людей.

В то время Илья Арнольдович Ильф еще не был писателем, а ходил по Одессе в потертой робе, со стремянкой и чинил электричество. С этой стремянкой на плече Ильф напоминал длинного и тощего трубочиста из андерсеновской сказки.

Ильф был монтером. Работал он медленно. Стоя на своей стремянке, поблескивая стеклами пенсне, Ильф зорко следил за всем, что происходило у его ног, в крикливых квартирах и учреждениях.

Очевидно, Ильф видел много смешного, потому что всегда посмеивался про себя, хотя и помалкивал.

Десятки Останов Бендеров, пока еще не описанных и не разоблаченных, прохаживались враскачку мимо Ильфа. Они не обращали на него особого внимания и лишь изредка отпускали остроты по поводу его интеллигентского пенсне и вздернутых брюк. Иногда они все же пред-

лагали Ильфу соляную кислоту (в природе ее в то время давно уже не было) для паяльника или три метра провода, срезанного в синагоге.

Ильф в таких случаях вступал в оживленный торг, исключительно с целью выслушать новейший набор одесских острот, клятв и проклятий.

Мода на клятвы часто менялась. Она зависела от многих вещей: от положения на фронте гражданской войны, от стоянки или отсутствия в Константинополе английского дредноута «Сюперб» или от поведения балтийского матросского отряда, который, как говорили, занимал под постой дом мукомола Вайнштейна.

Самой модной была тогда клятва: «Чтоб мне не дойти туда, куда я иду». В этой клятве содержался явный намек на опасность хождения по одесским улицам.

Но Ильфу недолго пришлось чинить электричество. Вскоре одесская электростанция остановилась, и, как уверяли одесситы, навсегда.

Я вспомнил об Ильфе и его персонаже – бесстрашном плуте Остапе Бендере – потому, что даже в те суровые дни плутовство процветало в Одессе. Оно заражало даже самых бесхарактерных людей. Они тоже начинали верить в древний закон баракхолки: «Если хочешь что кушать, то сумей загнать на Толчке рукава от жилетки».

Плутовство вползло наконец и в нашу среду литераторов и журналистов.

Советских денег у нас с Яшей Лифшицем не было ни копейки. Соленой камсы осталось на один день. В письменном столе валялось два черных сухаря. Они распространяли тот же ненавистный запах лизола и гвоздик, как и профессорская библиотека.

Следовало что-то предпринять, чтобы не пропасть от истощения. Но, как нарочно, голова гудела, и ни я, ни Яша ничего не могли придумать. Да и что придумаешь в опустошенном городе, где еще не было ни учреждений, ни газет, ни базаров, ни, наконец, советских денег! Приходилось ждать, пока все это наладится; но ждать было почти невозможно: нас уже шатало и тошнило от голода.

Поэтому мы предпочитали лежать в дворницкой, укрывшись с головой своими потертыми пальто, и все-таки чего-то дожидаться.

В дворницкой холод стоял густым слоем, как в леднике. Жестяную «буржуйку» мы топили старыми газетами и быстро доводили ее до белого каления. Но она так же стремительно остывала, как и разъярялась.

На пятый день после занятия Одессы советскими войсками к нам пришел мой школьный товарищ по Киеву Володя Головчинер. Недели за две до этого я встретил его на Дерибасовской, где Володя, несмотря на свою подслеповатость, золотые очки и потрепанный, но барский вид, торговал с рук зажигалками.

Володя привел с собой сморщенного, как обезьянка, человечка, говорившего так быстро и невнятно, будто во рту у него было полно гольшей.

– Вот, – сказал Володя Головчинер и неопределенно показал на человечка, – имею честь представить товарища Торелли. Торелли – это псевдоним. А «в миру», как выражается ваш расстрига-домовладелец, он носит фамилию Блюмкис. Он одесский репортер. У него есть одна идея.

Мы высунули головы из-под пальто и молча рассматривали виновато улыбавшегося товарища Торелли, имевшего какую-то идею.

– Торелли или Торичелли? – придирчиво спросил Яша. Он был немного туг на ухо.

– Торелли, – уныло повторил Володя Головчинер. – Да это не важно. Идея его имеет отношение к нашему бедственному существованию. Упомянутый товарищ Торелли – в миру Блюмкис – находится в таком же пиковом положении, как и вы двое и даже я, Владимир Головчинер, сын киевского профессора-стоматолога и чемпион по плаванию. Эту идею товарищ Торелли имеет изложить сам, поскольку это позволят ему его речевые способности.

Володя любил говорить ерническим языком. Я к этому привык еще в гимназии.

Тогда Торелли что-то произнес, но так быстро, что мы услышали только треск, будто кто-то проиграл стремительно дробь на турецком барабане.

– Позвольте, я переведу, – бесстрастно сказал Володя Головчинер. – Товарищ Торелли считает, что его идею следует принять немедленно и, по возможности, без смеха.

Оказалось, что товарищ Торелли снимает комнату у расстриги Просвирняка в двухэтажном доме, выходящем на улицу. Он узнал от расстриги, что мы столичные журналисты. Столичным журналистам Торелли завидовал, хотя ни за что не согласился бы променять Одессу даже на работу в самом «Русском слове». Вы спросите: почему? Очень просто. В Одессе можно было «сделать» любую сенсацию. Написать, например, в газете «Одесская почта», что на рабочей окраине Пересыпи лопнул меридиан и катастрофа для города была предупреждена только благодаря героическим усилиям пожарных команд. В Москве и Петрограде такой номер никогда не прошел бы.

Но дело сейчас не в этом, заметил Торелли. Дело в том, чтобы спастись от голода. Для этого нужно объединиться не меньше чем четверем опытным журналистам. Надо пойти на риск, но зато, может быть, завтра же мы будем, как нежно выразился Торелли, «кушать» хлеб и нам, может быть, даже дадут аванс – по несколько «лимонов» на каждого. «Лимонами» в то время назывались советские бумажные деньги достоинством в миллион рублей.

Сущность своей идеи Торелли объяснить отказался, требуя безусловного доверия.

– Разглашать раньше времени – значит сглазить! – сказал он убежденно.

Мы не удивились этому. Нам было теперь все равно: пропадать так пропадать, риск так риск! Мы отупели от голода и согласились на все.

– Тогда, – сказал Торелли, – завтра в восемь утра я заскочу за вами и буду сопровождать вас в город.

Он надел соломенное канотье – его он до тех пор держал за спиной – и, игриво сказав: «Привет, привет!», исчез.

– Да-а, – задумчиво произнес Яша Лифшиц. – «Все сметено могучим ураганом». Все продано, и все проедено.

– Вы о чем? – спросил Володя.

– О том, что рваное соломенное канотье товарища Торичелли не головной убор для зимних одесских нордов.

– Представьте себе, – сказал Володя, – что у него есть сестра. У нее год назад отнялись ноги. Она почти не может ходить. Они живут в одной комнате. Как терпеливо он ухаживает за ней! Под его жалкой оболочкой бьется великодушное сердце. Тема, достойная Шекспира!

– Что он собирается выкинуть, этот Торичелли? – спросил Яша. – Как бы мы не влипли в какую-нибудь идиотскую историю.

Володя сказал, что все может быть, и ушел. Мы снова натянули на головы пальто. Но я долго не мог согреться и уснуть.

Проснулся я на рассвете, когда воздух за окном, похожий на воду, подкрашенную грязноватым ультрамарином, был даже на взгляд груб и насыщен ледяным ветром. Очевидно, этот ветер задувал прямо с полюса. Я с отвращением подумал, что скоро надо вставать, идти в город, а ветер будет врываться за шиворот и костенить тело.

Может быть, не ходить? Сжаться под пальто, собрать в комок все свое слабое тепло и потом, засыпая, вынуть из него, как из елочной ваты, невесомый и радостный сон – синий, тонкий, оставляющий такое же ощущение нежности, какое бывает, если прикоснешься щекой к щеке спящего ребенка.

Я ждал такого сна, но вместо него услышал, как в саду ядовито зашипел норд. Потом в это шипение вошел настойчивый и грубый стук в дверь, – это пришел за нами товарищ Торелли.

В город мы шли через Александровский парк. Норд хлестал в лицо гравием и швырял шершавую пыль. Цинкового цвета море катило из рассветного цинкового тумана гремящие

мутные валы. Противно и назойливо верещал цинковый флюгер на крыше маленькой обсерватории в парке.

– Весны не будет, – сказал Яша. – Солнца тоже не будет! Ничего больше не будет! Все это еще одна иллюзия недорезанных интеллигентов.

Торелли тонко пискнул и поперхнулся. Я не сразу сообразил, что он смеется. На его обветренных глазах блестели красноватые слезы.

– Куда вы нас ведете? – придирчиво спросил Яша. – Я предчувствую жалкую авантюру.

– Клянусь честью, что я вас доведу только до первого советского учреждения, – торопливо ответил Торелли. – Должны же они в конце концов открыться, эти учреждения! Кстати, вы сами согласились на риск.

На углу Канатной улицы нас ждал Володя Головчинер.

В городе было пусто. По Канатной процокали копытами всадники с красными лоскутками на потертых мерлушковых папах. Они даже не посмотрели на нас. Из всех подворотен высунулись мальчишки, и тотчас по дворам прокатились мощные материнские крики:

– Назад, чтоб вас хвороба взяла! Это же несчастье, а не дети! Назад!

Мальчишки скрылись.

Потом медленно проехала, сотрясая окна, расхлябанная грузовая машина с поломанной мебелью. В кузове машины сидел красноармеец с винтовкой и курил. Мальчишки снова появились в подворотнях, но так же внезапно исчезли под новые хриплые вопли: «Назад, байстрюки! Чтобы вы горели огнем на том свете!»

Чудесный, бодрый запах махорки пронесся, завиваясь, по улице. Я невольно проглотил слюну.

– Не отставайте от этой машины, – сердито прошептал нам Торелли. – Тут будет дело!

Мы прибавили шагу. Грузовик выехал на Ришельевскую, свернул к Оперному театру и остановился около темного здания. То был один из домов, оставшихся от времен Ришелье и де Рибаса. Такие здания придавали Одессе благородные черты Генуи, Флоренции и даже, как утверждали некоторые одесситы, самого Парижа.

На тротуаре около этого классического здания лежало имущество рядового советского учреждения (очевидно, учреждение это большую часть своей жизни проводило на колесах): оборванные рулоны бумаги, линияые плакаты из кумача, обернутые вокруг древков, распатанные канцелярские столы, нервные этажерки, привыкшие падать навзничь от грубого хлопанья дверей, выгоревшие портреты в рамках, выкрашенных сизой морилкой, погнутый бак для кипяченой воды и множество ящичков.

Все это имущество охранял матрос с такой рыжей провололочной шевелюрой, что бескозырка у него не прикасалась к голове, а как бы стояла в воздухе, опираясь на эту шевелюру.

На дверях здания был прибит кусок холста с надписью: «Одесский Опродкомгуб».

– Сюда! Быстро! – сказал Торелли, рванулся в сторону и выскочил на маленькую площадь Пале-Рояль около Оперного театра. Там страж с провололочными волосами не мог нас заметить.

Сейчас Торелли совсем не казался таким жалким, как вчера на Черноморской или каким был еще час назад. Отблеск вдохновения упал на его лицо. Но я не представлял себе ничего, что могло быть причиной этого вдохновения. Глаза Торелли лукаво поблескивали в щелках припухших век.

– Прежде всего надо выяснить, – сказал Он, – что значит Опродкомгуб?

Я знал это сокращенное название и объяснил его. Оно означало: «Особый продовольственный губернский комитет».

Торелли присел, хлопнул себя по коленкам костлявыми лапками и залился тихим смехом.

– Лучшего учреждения, – пропищал он, – нам и не нужно. В самый раз!

Тогда обозлился Володя Головчинер.

– Слушайте, синьор Торричелли, – сказал он. – Объясните нам, что это за манифарги, или, проще говоря, что это за штучки. Иначе мы бросим вас и уйдем.

Володя называл «манифаргами» все, что было ему непонятно.

Тогда Торелли изложил свою «идею», свой план, показавшийся нам одновременно и невероятно опасным, и неслыханно глупым.

– Послушайте, – сказал он, – вы же знаете, что такое учреждение? Или вы не знаете? И вы тоже знаете, что ни одно уважающее себя учреждение не может жить, если оно не издает какой-нибудь информационный листок или бюллетень про свою работу. Или, худо-бедно, не имеет собственного информационного отдела. Вы это знаете? Очень хорошо! А вы не подумали, что для этого отдела нужны газетчики? Особенно репортеры. И знаете ли вы, что если нет информационного отдела, то начальник учреждения, будь он хоть сам мистер Форд, начнет барахтаться в делах, как цыпленок в луже? Мы откроем в Опродкомгубе информационный отдел. Мы напечатаем роскошный бюллетень на ротаторе о прибытии в Одессу для раздачи нетерпеливому населению трех бочек выдержанной камсы из Очакова и вагона кукурузы и моченых помидоров из Тирасполя. Вы понимаете, что это значит? Это значит, что в Одессе начнется жизнь! – крикнул Торелли. – Жизнь!

– А почему вы уверены, что в этом учреждении еще нет информационного отдела? – спросил Яша. – Вы слишком много на себя берете, товарищ Торичелли.

– Ха! – воскликнул Торелли. – И еще раз «ха»! И, если хотите, двадцать раз «ха»! Вы же видите, что они еще не втащили в дом даже свое барахло. Они еще сосунки. Ну, а если тут информационный отдел есть, так это же не единственное учреждение в Одессе. Пойдем в другое. И откроем информационный отдел там.

Мы промолчали, подавленные логикой Торелли.

– Требуется солидный человек в очках, чтобы он говорил по-русски, как актер Качалов, – сказал Торелли. – Самый подходящий для этого, по-моему, товарищ Головчинер. Он будет у нас начальником отдела. Вы, – он показал на меня, – заместителем, товарищ Лифшиц – экономистом, а я – репортером. Но главное – проскочить мимо матроса, мимо этого рыжего голиафа с винтовкой. Пошли! Быстро! В таких делах волынка – первая опасность.

Мы с деловым видом подошли к входу в таинственный Опродкомгуб. Торелли шел сзади, фальшиво насвистывая и стараясь спрятаться за нашими спинами.

Рыжий часовой сидел на ящике и держал за передние лапы белую мохнатую собачку.

– Служи дяде! – говорил матрос нарочито грозным голосом. – Служи дяде, черт мохнатый, цуцик-пуцик! Служи дяде!

Собачка виляла хвостом и повизгивала, явно показывая, что ей слишком лестно такое обращение. Но служить она не умела.

– Вот прибилудилась с ночи, – сказал нам матрос, – и не уходит. Такая обходительная собачка, не поверите! Голодная, стерва! Придется взять ее с собой в команду. Ой же, и придется! – ласково сказал он, начал трепать собачку по спине и приговаривать: – Ой же, и надо взять такую дурную смешную собачку! Ой же, и следует взять на матросское снабжение такую кудлатую псину!

Собачка молотила хвостом и подвывала от восторга. Мы проскочили мимо матроса под суровые своды Опродкомгуба. Я посмотрел на своих спутников. Они растерянно улыбались.

– Ах, какой парень! – неожиданно сказал Яша Лифшиц.

– Кто? – спросил Торелли.

– Конечно, не вы!

По темным коридорам красноармейцы, топя бутсами, тащили канцелярские шкафы. Дверцы у шкафов сами по себе распахивались и тотчас захлопывались с оглушительным треском. Красноармейцы вполголоса ругались.

– Значит, так, – сказал Володя Головчинер, – Мы сейчас узнаем, в какой комнате сидит начальник этого учреждения, пойдем к нему и попросим принять нас на работу.

Торелли взмахнул, руками, отступил и с ужасом и презрением посмотрел на Володю.

– Вы что? – спросил он свистящим шепотом. – Окончательно сумасшедший? Или нет? Или у вас еще не прорезались зубы? Вы хотите, чтобы нас прямо отсюда отправили в Чека и разменяли на мелкую монету? Пришли с улицы – и бенц! – прямо к начальнику! Кто мы? Что мы? Желтая пресса! Бульварные журналисты! Вы угробите всех. Стоило мне стараться и придумывать такой замечательный план, чтобы из-за вас обмишуриться навеки! Разве так поступают?

– А как? – растерянно спросил Головчинер. Мы с Яшей тоже опешили.

– Раз не знаете, так положитесь на меня! – высокомерно произнес Торелли. – Я подскажу вам все, что нужно делать. Никаких начальников! Мы сами начальники! За мной!

Торелли пошел вперед, а мы, горько сожалея, что впутались в эту историю, неуверенно пошли следом за ним.

К счастью, никто не обратил на нас внимания, и мы наконец попали в пустой и пыльный коридор на втором этаже. Он кончался уборной с выломанной дверью и черной лестницей.

– Пожалуй, лучше всего будет здесь, – сказал Торелли и толкнул первую же дверь. Она открылась, и мы вошли в пустую комнату. В ней не было ничего, кроме валявшихся на полу справок о прививке оспы и плаката с надписью: «Борись с трихинозом свиней!»

Торелли поднял плакат, достал из кармана синий карандаш, перевернул плакат чистой стороной, положил на подоконник и написал на нем витиеватым писарским почерком: «Информационный отдел». Потом подумал и приписал внизу шрифтом немного поменьше: «Завотделом – Головчинер В. Л.»

Мы следили за действиями Торелли, не спуская с него глаз, как кролики, зачарованные гремучей змеей.

Торелли достал из кармана брюк бумажный пакетик с несколькими кнопками, вышел в коридор и приколот плакат к двери.

– Вот и все! – сказал он и радостно потер руки. – Все обдумано. Первый акт отошел. Теперь остается только ждать дальнейших событий. Присаживайтесь, прошу вас, на подоконники!

У Володи Головчинера была пачка кубанского табака, черного и сухого, как торф. Мы расселись на пыльных подоконниках, закурили и начали ждать. Говорили мы шепотом. Один Торелли насвистывал вальс из «Веселой вдовы».

– Черт его дерь, – неопределенно сказал Яша. – Может быть, нас действительно расстреляют?

Торелли презрительно фыркнул.

Мы сидели и прислушивались к беспорядочному шуму, постепенно заполнявшему учреждение. Где-то даже зазвонил, как вызов из преисподней, надтреснутый телефон.

За окнами был виден Ланжероновский спуск, но не весь, а только один его живописный кусок. Море синело; норд уже иссякал.

– Мы самозванцы, – опять сказал Яша мрачным голосом. – Нас разоблачат в три счета. Лучше, пока не поздно, уйти.

Тогда возмутился Торелли.

– Это мне страшно нравится! – воскликнул он. – Браво и бис! Не смешите меня. Где вы видите самозванцев? Разве мы не будем честно работать? Если мы нашли подходящее место для приложения интеллигентских сил, так это простой здравый смысл, и только!

– Вы Спенсер, Торелли, – сказал Володя. – Кант! Президент Пуанкаре! Вы подвели железную базу под мое шаткое звание заведующего информационным отделом. У меня после ваших слов выросли крылья.

– Тише! – вдруг сказал злым шепотом Яша. – Хватит паясничать! кто-то идет.

Действительно, по коридору кто-то шел, бряцая шпорами. Шаги были чугунные, как у командора. Человек со шпорами остановился против нашей комнаты, густо прокашлялся, помедлил и распахнул дверь.

Мы вздрогнули.

В дверях стоял, очевидно, один из отчаянных командиров прославленных партизанских отрядов. Косматые седеющие брови густо свисали над его черными глазами. Плохо выбритое лицо отливало синеватой чернотой. На поясе у него висел мощный маузер с деревянным прикладом. Через плечо была перекинута полевая сумка. Нагрудные карманы френча были туго набиты пистолетными обоймами, махоркой, зажигалками и скомканными бумажными деньгами. От обилия этих вещей оба кармана лопнули, и при каждом движении человека с маузером из прорех в карманах сыпалась драгоценная махорка.

Человек с маузером пристально осмотрел нас, потом прикинул глазом величину комнаты и сказал неожиданно тонким, как дудочка, голосом:

– Доброго здоровьица, други! Будем знакомы. Карп Поликарпович Карпенко. Бывший работник на ниве народного образования, а ныне ваш комендант. Кто здесь заведующий столь замечательным отделом? Кажется, товарищ Головчинер Ве Эль? Он здесь?

– Да, это я, – осторожно ответил Володя.

– Покорнейше прошу, – сказал комендант, – не позже, чем через час, представить мне точный реестрик потребного вам имущества, заверенный вашим подписом. Не зевайте, пока имущество не расхватили другие, более нахальные отделы. Информационный отдел всегда, знаете, остается в дураках. Имею на этот счет опыт. А почему? Потому, что интеллигенты, дорогой мой товарищ Ве Эль Головчинер, разводят нюни со всяким барахлом. Когти и кулаки надо показывать! Вот! – Комендант показал нам красный волосатый кулак. Он даже повертел им в разные стороны, чтобы мы лучше его рассмотрели. – Как говорится, сто раз покрути перед носом, а один раз стукни! Сразу всякое хрюкало хвост подожмет, и воцарится полнейший порядок. И эта штучка, – он похлопал по маузеру, – тоже прочищает мозги лучше, чем технический нашатырь. Не беспокойтесь. Вас я не дам в обиду, поскольку от отца унаследовал почтение к трудовой интеллигенции. Оно, знаете, совершенно правильно сказано у поэта: «Сейте разумное, доброе, вечное...»

Он внезапно замолк и прислушался. Из коридора доносилось кряхтенье нескольких человек. Комендант распахнул дверь, выскочил из комнаты и закричал плачущим бабьим голосом:

– Очи у вас повылазили, что ли! Балет мне устраиваете! Тут же информационный отдел, а вы сюда прете несгораемый шкаф, надлежащий до бухгалтерии. Назад!? Спускайте его по этой черной лестнице в первый этаж. Все здание сотрясаете, полы побили, как черепицу. Что это за чертовы люди, ей-богу! Противно даже на вас смотреть!

После сильного пыхтения за дверью вдруг раздался удар. В коридоре что-то обрушилось, треснула оконная рама, со звоном полетели стекла, и комендант снова закричал отчаянным голосом (так обыкновенно кричат, хватаясь за голову):

– Удерживай!! Удерживай его, чертяку! А то завалите здание! Удерживай, говорю!...

И вот тогда мы впервые почувствовали как бы подземный толчок. Дом вздрогнул, качнулся. Громоподобный грохот покатился с нашего второго этажа на первый. Чердак у нас над головой затрясся, и с потолка белой чешуей посыпалась штукатурка. Было слышно, как, топая бутсами, разбегались люди.

Второй удар землетрясения слился с хриплым воплем коменданта:

– Тикайте с площадки, матери вашей черт! Разве сами не видите, что делается! Тикайте!

Внутреннее это опродкомгубовское землетрясение стихло так же внезапно, как и началось. Мы вышли в коридор. В нем туманом висела известковая пыль. В полу зияли борозды, будто коридор пропахали тяжелым плугом. Угол у окна был отбит. Внизу, на первом этаже, на

площадке черной лестницы, лежал на боку, отдыхая, слетевший со второго этажа злополучный стальной шкаф, опутанный рваными веревками. Перила лестницы были начисто отломаны. Они чудом висели на одной ржавой проволоке.

Над шкафом, как над покойником, грустно стояли, опустив головы, носильщики-красноармейцы. Очевидно, они были из хозяйственной команды: никакой выправки у них я не заметил.

Комендант тоже стоял около шкафа в глубоком раздумье. Он увидел нас и ударил носком сапога по шкафу. Раздраженно зазвенела шпора.

– Видали бугая? – спросил комендант. – Чуть людей не поубивал. Так пришлите мне, товарищ Головчинер, реестрик. И не стесняйтесь. Составляйте с «походом».

С этой минуты мы поверили, что «гениальный» план Торелли удался, если не совсем, то по крайней мере наполовину.

Реестр был составлен. Торелли отнес его коменданту. При этом он успел подружиться с ним и войти в курс жизни Опродкомгуба. Комендант оказался, по словам Торелли, «мировым хлопцем».

Мы повеселели, особенно когда в комнате появились первые столы и стулья. Повеселел даже Яша. Он перестал каркать, хотя время от времени и вспоминал о грозном часе, когда придется заполнять анкету.

Но наши испытания на этом не кончились. В коридоре снова слышались шаги, но теперь уже нескольких человек. Мы быстро сели за свои пока еще пустые столы. На них не было даже чернильниц.

Дверь снова распахнулась, и в комнату вошел хилый молодой человек в пальто, перешитом из солдатской шинели, и в линялой студенческой фуражке. Он близоруко приглядывался к нам сквозь толстые стекла очков.

Это был начальник Опродкомгуба, бывший студент-юрист Харьковского университета, товарищ Агин.

За ним вошла его свита. Она состояла из здоровых парней в плотных гимнастерках и скрипучих кожаных портупеях.

Появление Агина было похоже на выход римского императора Марка Аврелия – прекраснородушного философа и поэта – в окружении гремящих мечами и латами легионеров.

Нам долго не верилось, что этот болезненный и мягкий человек был начальником учреждения, ведавшего снабжением Одессы, – учреждения шумного, грубого, которое тотчас же обсели, пытаясь прорваться в него, всякие деляги, рвачи, хапуги, рукосуи и «леваки».

Агин был тих, но непоколебим, и потому кипящие багроволицые толпы тайных и явных спекулянтов, равно как и раскаленные их мечты о баснословной наживе, стихали, как волны, у дверей его кабинета.

– Оказывается, у нас есть даже информационный отдел! – сказал Агин, пожевал губами и усмехнулся. У меня упало сердце. Агин обвел всех нас глазами и снова усмехнулся.

– Кто заведует им? Вы? Очень рад, товарищ. Как ваша фамилия? Головчинер? Вы не родственник известного сиониста Головчинера? Нет? Ну, тем лучше. Иногда однофамильцы тоже могут причинить неприятности. А это ваши сотрудники? Все журналисты? Очень, очень рад! Надеюсь, мы сработаемся, хотя функции вашего отдела мне еще недостаточно ясны.

Торелли издал какой-то непонятный длинный звук, обозначающий, очевидно, утверждение, что мы, конечно, сработаемся.

Агин обернулся к нему, наклонил несколько набок голову, как бы вдумываясь в стремительную тираду Торелли и ожидая ее продолжения. Но Торелли покрылся обильным потом и молчал.

– Ага, понимаю, – сказал Агин и дружески улыбнулся Торелли. – Вы совершенно правы.

Он попросил Володю Головчинера прийти через час к нему в кабинет на совещание заведующих отделами для обсуждения плана работ, кивнул нам и вышел...

Володя Головчинер стоял белый, по словам Торелли, «как мукомол».

Через два томительных часа Володя вернулся румяный и веселый, крикнул нам с порога: «Встать, халдеи!» – и роздал всем по сто тысяч рублей, по талону на получение хлеба и по анкете из ста двадцати вопросов. Но сейчас уже анкета нас не пугала. Мы поздравили и поблагодарили Торелли. Он сиял, как победитель, и троекратно, по-московски, облобызался с нами.

К вечеру отдел приобрел вид настоящей редакции. На маленьком столике стоял новенький ротатор.

Над ним висел огромный плакат: красноармеец в зеленом богатырском шлеме всаживал штык в чешуйчатое брюхо дракона. Из пасти у дракона било косматое малиновое пламя. Внизу была надпись: «Долой гидру контрреволюции!»

Над столом у Володи Головчинера висел лист картона. На нем в кружочках из листьев дуба были напечатаны портреты вождей. Непостижимым образом все вожди походили друг на друга, как братья. Объяснялось это тем, что жидкая типографская краска расплзлась по картону и очертания всех лиц слились в одно мутное пятно.

Плакаты прислал нам в знак особого расположения комендант Карп Поликарпович Карпенко.

Жизнь снова казалась прекрасной, а теплый хлеб из соседней временной пекарни, подгорелый и пахнущий хмелем, – необыкновенно вкусным. Я никогда еще не ел такого душистого хлеба с такой хрустящей горбушкой.

Все обошлось, но все же на душе у Яши и у меня было беспокойно. Однажды ночью Яша, ворочаясь на жесткой койке без тюфяка, сказал мне:

– Вы там как хотите, а я завтра пойду к Агину и расскажу про все это безобразие. Прото, как мы попали в Опродкомгуб.

– Ну что ж, пойдете.

Наутро мы пошли к Агину. В тот день признаки весны уже появились в Одессе. Солнечный свет стал плотнее. Над морем плыли, разваливаясь и открывая синие небесные провалы, громады белых облаков.

Даже в кабинете у Агина чувствовалось приближение весны. От сырых полов в тех местах, куда падал из окна солнечный свет, клубился пар.

Агин вежливо выслушал нас, откинувшись на спинку кресла, и, кивая головой, тихо засмеялся.

– Я ждал этой исповеди, – сказал он, – но, признаться, несколько позже. Я все знаю. Нельзя сказать, чтобы я был восхищен вашей выдумкой, – она лежит слишком близко от криминала. Но поскольку это изобрели не вы, а тот маленький человек с плохой итальянской фамилией, то на вас нет особой вины. А я был бы никуда не годным руководителем, если бы не догадался, что здесь дело, несомненно, подмоченное.

– Как же вы догадались? – спросил Яша.

– Прежде всего у нас по схеме нет никакого информационного отдела. Он свалился на Опродкомгуб как снег на голову. Кое-что начал подозревать с первой же минуты милейший наш комендант, Карп Поликарпович. Он первый же и доложил мне, что люди, видно, интеллигентные, никак не жулики, должно быть хорошие работники, и не стоит подымать шума и губить их. Но, признаюсь, мне нелегко было задним числом включить этот самозванный отдел в структуру учреждения. Самое удивительное, что этот отдел действительно оказался нужным. Отсутствие его было бы явным ущербом. За что и примите мою благодарность.

## ЛАБИРИНТЫ ИЗ ФАНЕРЫ

Вдоль тротуаров зацвели старые акации. Все вокруг было усыпано их желтоватыми цветами.

Опродкомгуб к весне переехал с Ришельевской в самую гущу этих уличных акаций – в «Северную гостиницу» на Дерибасовской.

Первые годы революции отличались необыкновенной непоседливостью учреждений. Они постоянно переселялись. Шумно заняв какой-нибудь дом, учреждение прежде всего строило внутри множество фанерных (или, как говорят на юге, «диктовых») перегородок с такими же фанерными хлипкими дверями.

Фанерный лабиринт из одного какого-нибудь учреждения, если бы его вытянуть в одну линию, мог бы, пожалуй, опоясать стеной всю Одессу по окружавшей город Портофранковской улице.

Фанерные перегородки, никогда не доходившие до потолка, пересекались под самыми причудливыми углами, резали надвое лестничные площадки, создавали темные, загадочные переходы, тупики и закоулки.

Если бы с этих учреждений, заполненных перегородками, можно было снять крыши или сделать вертикальный разрез дома от чердака до подвала, то перед пораженными зрителями открылась бы картина запутанного человеческого муравейника. Он был заполнен особой породой человеко-муравьев. Они исписывали за день горы бумаги и прятали их на ночь, как в соты, в фанерные клетушки.

На фанерные перегородки полагалось клеить кипы приказов, объявления и огромные, как простыни, стенные газеты.

В фанерном коридоре ставили цинковый бак для кипяченой воды с прикованной к нему на цепи жестяной кружкой. Около бака усаживалась курьерша – тетя Мотя или тетя Рая, – и с этой минуты учреждение начинало полностью действовать.

Иногда даже казалось, что никакое учреждение немислимо без фанерных перегородок и курьерш, и только при наличии курьерш и фанеры учреждение расцветает, кипит ключом, и работа его подвергается всестороннему обсуждению как со стороны собственной «тети Моти», так и всех стетушек Моть» из соседних – дружественных или враждебных – учреждений. Каждая «тетя Мотя» блюла авторитет своего заведения. «Правила внутреннего распорядка» были для нее скрижалями, не подлежащими критике и, очевидно, врученными коменданту самим Саваофом на высотах административного Синая!

В этих лабиринтах из фанерных перегородок можно было увидеть много любопытных вещей и в первую очередь кассу – унылую клетушку за прорезанным в фанере кривым окошком.

В Опродкомгубе над окошком кассы было написано синим карандашом: «Товарищи! Сумму пишите прописью и не утруждайте кассира резанием денег. Режьте сами! (Основание: приказ по Опродкомгубу № 1807)».

Эта загадочная и несколько устрашающая надпись «Режьте сами!» объяснялась просто: кассир получал деньги большими листами и поневоле тратил много времени на то, чтобы разрезать их на отдельные купюры. Это занятие кассиру надоело, и он начал выдавать заработную плату просто большими, неразрезанными листами.

В зависимости от стоимости купюр листы с напечатанными на них деньгами ценились по-разному. К примеру, тысячерублевки было отпечатано на листе двадцать штук, и потому лист стоил двадцать тысяч рублей, а десятирублевки – шестьдесят штук, и лист с ним соответственно стоил шесть тысяч рублей.

Но не всегда кассир мог расплатиться одними цельными листами. Иногда ему приходилось выкраивать ножницами из листа нужную сумму.

Против этого кассир не восставал: в конце концов такая операция брала немного времени. Скандалы вспыхивали из-за того, что некоторые заносчивые сотрудники отказывались брать деньги целыми листами, а требовали расплаты нарезанными купюрами.

В таких случаях старый и желчный кассир захлопывал фанерное окошечко кассы и кричал изнутри:

– Что! У вас руки отсохнут, если вы порежете деньги? Не хотите сами, так дайте вашим деткам. Пусть они получают удовольствие!

Захлопывание окошечка было со стороны кассира сильным, хотя и запрещенным приемом, своего рода психической атакой. Я испытал ее на себе и убедился, что захлопнутое окошко кассы действует просто панически на всех служащих, но особенно на многосемейных и алкоголиков. У каждого появлялась необъяснимая уверенность, что окошечко никогда больше не откроется, что все деньги розданы до последней копейки и что их больше вообще не будет в природе.

Самый несговорчивый получатель денег всегда сдавался перед захлопнутым фанерным окошком и начинал даже каяться. Тогда кассир открывал окошечко, долго и горестно смотрел вверх очков на протестанта и качал головой.

– Стыдитесь, молодой человек! – говорил он. – Скандалить вы умеете, а чтобы чуточку помочь финансовым работникам и порезать деньги самому, так на это вас никогда не хватает. Пишите сумму прописью вот тут где красная птичка.

С целью просветить сотрудников Опродкомгуба в области денежного обращения кассир приклеил к фанерной перегородке около кассы образцы советских денег, имеющих хождение по стране, а рядом образцы денег, хождения не имеющих.

То была редкая коллекция бумажных денег. Ее не украли только потому, что предусмотрительный кассир приклеил деньги к фанере столярным клеем и их нельзя было отодрать от нее никаким способом. Но все же на второй день появления этой коллекции комендант Карпенко обнаружил попытку стащить коллекцию, – кто-то начал выпиливать лобзиком кусок фанеры с наклеенными деньгами.

В то время почти все деньги носили прозвища. Тысячные ассигнации назывались «кусками», миллионы – «лимонами». Миллиардам присвоили звучное прозвище «лимонардов». Все мелкие деньги тоже носили самые неожиданные наименования. Особенно нежно одесситы называли бумажную мелочь в тридцать и пятьдесят рублей.

Среди денег, не имеющих хождения, были совершенно фантастические: например, сторублевки, напечатанные на обороте игральные карты. Их выпускал какой-то захолустный город на Украине – не то Чигирин, не то Славута. Были одесские деньги с видом биржи, белогвардейские «колокола» и «ермаки», украинские «карбованцы», сторублевые «яешницы», «шаги» и еще множество всяческих банкнот и «разменных знаков», чья ценность обеспечивалась сомнительным имуществом разных городов – от Крыжополя до Сосницы и от Шполы до Глухова.

Наша стена около кассы Опродкомгуба выглядела живописно. Почти каждый сотрудник, получая деньги, проделывал с ними одну и ту же операцию: он прижимал к фанере денежный лист, накладывал сверху кусок бумаги и изо всей силы тер по ней, чтобы убрать с денежного листа лишнюю липкую краску.

После этого деньги отпечатывались и на бумаге и на фанере с такой четкостью, что, как уверяли остряки, с них можно было делать оттиски и пускать их в обращение наравне с настоящими деньгами.

После полочки все покрывалось оттисками липких денег. На пальцах, на столах, на бумагах и книгах мы находили номера денежных серий и подпись народного комиссара финансов.

## ЯЧНАЯ КАША

Сотни тысяч рублей, которые мы получали под видом заработной платы, целиком уходили на обед в соседней нарпитовской столовой. Там изо дня в день мы съедали две-три ложки ячной каши, сдобренной зеленым, похожим на вазелин веществом. Торелли уверял, что это было оружейное масло.

Кроме того, мы питались горелым хлебом и мидиями.

Хлеб отличался удивительной особенностью: корка и мякиш существовали в нем обособленно. Они образовывали как бы два чуждых друг другу геологических пласта. Между этими пластами находилось пространство, заполненное мутной кисловатой влагой, горьким хлебным квасом.

Были любители, которые высасывали этот сок и утверждали, что он вылечивает опухоли на суставах.

Такие опухоли появились тогда от недоедания и холода. К ним нельзя было прикоснуться без того, чтобы тотчас же не возникла резкая и длинная боль. Кроме того, при каждой попытке помыть руки опухшие места лопались и кровоточили. В холод они сильно болели, а в тепле начинали нестерпимо чесаться.

Я пил хлебный сок и могу засвидетельствовать, что опухоли от этого не исчезали, но зато начиналась тяжелая изжога.

Мясо морских ракушек – мидий – мы варили с солью. В нем чувствовался сильный привкус ихтиола.

Кроме того, мидий надо было добывать самим на Ланжероне, отдирая их ножом от прибрежных скал, конечно, в тихую и теплую погоду. Поэтому мидии были только летней пищей.

Лета мы ждали с нетерпением. Летом я начинал ловить бычков и султанку. На широких молах в порту уже зеленели огороды, окруженные изгородью из ржавых труб и рваного листового железа. Чудно пахли листья помидоров, обещающая недалекий урожай «красненьких» (так в Одессе звали помидоры). Призрак голода бледнел, но не уходил. Голод прятался рядом. Мы все время чувствовали его близость и знали, что при малейшей оплошности он появится снова, еще более мучительный и зловещий, чем раньше.

Что касается меня, то я считал себя совершенно счастливым, когда мне удавалось достать несколько таблеток сахара. Я пил с ним чай из сушеной свеклы с горелой хлебной коркой и чувствовал, как свежесть и сила вливаются в меня целыми зарядами, обновляя скудеющую кровь.

Деньги уходили на ячную кашу и на воду, – за ведро воды приходилось платить пятьсот рублей. Больше их почти ни на что не хватало, даже на спички и дрова. Акациевые дрова, похожие по цвету на серу, продавались в Одессе только щепками и только на вес.

Поэтому дрова приходилось воровать. Я не стыжусь признаться в этом хотя бы потому, что дело это было опасное и подчас грозило смертельным исходом.

Конечно – что говорить – мы предпочли бы топить нашу верную «буржуйку» газетами и бумагой. Но старые газеты тоже приходилось воровать.

С точки зрения морали, воровство дров и газет было явлением одного порядка. Но с практической точки зрения, газеты, понятно, не могли идти ни в какое сравнение с дровами. Газета давала мимолетное тепло, вернее – намек на него, но зато засыпала паленой бумагой и желтым своим пеплом весь двор и сад, вызывая нарекания расстриги Просвирняка.

Дрова мы воровали преимущественно в Аркадии. Это была ближайшая к Одессе дачная местность на берегу моря.

Когда наступало лето, то Аркадия напоминала руины римских вилл – Боргезе, Альдобрандини или Конти. Сухой плющ обвивал треснувшие колонны с отбитой штукатуркой. Ее отбивали нарочно, желая убедиться, что колонны кирпичные и не годятся на дрова.

Ящерицы грелись в оконных проемах, где цвел, крепко зацепившись за разбитые каменные подоконники, золотой дрок. Ласточки гнездились в пилястрах. В лоджиях, как в огромных каменных чашах, буйно разрастался пыльный татарник.

На мраморных плитах муравьи прокладывали широкие аппиевы дороги. Подобно разрушенному с южной стороны Колизею, стоял тоже осыпавшийся с юга, со стороны моря, знакомый цементный бассейн. Он зарос по дну сухими злаками и бессмертником.

Хотя этим руинам и было всего каких-нибудь два года, но воздух древности уже завладел ими. Он сообщил окраске пустынной Аркадии пыльный и бронзовый налет Пергама и Эллады.

Так было летом. Зимой же, особенно в ненастные ночи, когда мы отваживались проникать в Аркадию, руины грозно чернели. В них выл январский норд и швырял в лицо заряды сухого снега. Тогда невозможно было представить себе, что над этими развалинами когда-нибудь подыметесь летнее солнце Одессы и легчайший шум ветра будет равномерно пробегать по листве уцелевших столетних деревьев.

Мы с Яшей воровали дрова всего три раза за зиму, но, правда, удачно. Два раза мы притащили по одной половице, а однажды нам даже удалось выломать раму от дверей.

Этих дров нам хватило на всю зиму, но только потому, что Яша открыл замечательный способ мгновенно раскалить «буржуйку» и так же мгновенно кипятить на ней чай. Все дело, было в том, чтобы топить тоненькими, как солома, лучинками. Это давало буйное, но короткое пламя и брало ничтожное количество дров.

Я хорошо помню наши ночные походы за дровами. Сначала мы ходили днем на разведку и выискивали дачу, где еще не все деревянные части были разворованы. При этом Яша вел со мной очередной запальчивый спор о подлинности пьес Шекспира или об экономических последствиях Версальского мира.

После разведки мы отправлялись в главный поход. Мы засветло шли к Аркадии по морскому берегу, где нас зимой вряд ли кто мог заметить. Мы несли с собой под пальто коловорот расстриги Просвирняка и его же маленький охотничий топор. За это расстрига получал от нас по строгому соглашению растопку для самовара. Дровами же мы делились только с Торелли, – его больной сестре, лежавшей без движения, нужно было постоянное тепло.

Около Аркадии, в заброшенной будке, где в доисторические времена продавали зельтерскую воду с сиропом, мы дожидались темноты.

В темноте мы находили выбранную днем дачу. Шли мы к ней осторожно, поминутно прислушиваясь. При малейшем шуме мы прятались за первой же оградой.

Мы боялись вовсе не милиции. В Аркадии ее не было, да и не могло быть. Кому бы пришлось в голову охранять развалины, сады, свистящие голыми ветвями, и холодное побережье, затянутое черным дымом штормовых ночей? Мы избегали встреч не с милицией, а с мелкими бандитами, воровавшими дрова для продажи, с жадными торгашами. Ими кишели в то время базары.

В первую же ночь мы нарвались на них, и они чуть не подстрелили нас из обреза. При этом они изрыгали на нас такие чудовищные угрозы, что волосы становились дыбом и леденела кровь.

Тяжелее всего было выламывать половицы. Это следовало делать совершенно бесшумно, но заржавленные гвозди всегда предательски взвизгивали. Руки у нас были изорваны в кровь, ногти обломаны, а ноги дрожали от напряжения.

Половицы были невероятно тяжелые, будто чугунные. С величайшим трудом, изнемогая и спотыкаясь, мы вдвоем едва дотаскивали их до своей дворницкой.

Я разводил огонь в «буржуйке», а Яша падал на продавленный матрац на полу, проклинал себя, «буржуйку», Одессу, Антанту и все на свете, стонал и клялся, что больше ни за что не пойдет воровать дрова.

У меня тоже было невесело на душе. Мне казалось, что мы с Яшей опустились и если так пойдет дальше, то мы превратимся в обыкновенных дровяных воров. Но соблазн горячего чая был так велик, что мы тут же забывали эти жалкие вылазки собственной совести. После чая Яша тотчас засыпал, а я лежал на жесткой профессорской тахте и долго прислушивался к звукам.

## БЛОКАДА

В туманной области человеческих воспоминаний заключено, на первый взгляд, много таинственных, а на самом деле просто необъясненных вещей.

Например, воспоминания о больших событиях бывают подчас такими же зыбкими, как, скажем, воспоминания о самом сереньком деньке.

В своих писаниях я старался избежать этой зыбкости, но не уверен, что это мне вполне удалось. Память зачастую оставляет нам субъективный облик времени, тогда как мы думаем, что он объективен и точен. Так, например, вся жизнь в Одессе в конце 1920 года и в 1921 году сохранилась в моей памяти как некий сравнительно мирный отрезок времени среди гремящих и ошеломляющих событий. Чем это объяснить?

В те годы Одесса опустела. Часть рабочих ушла на север, в Советскую Россию, с первыми же частями Красной Армии, с продовольственными и матросскими отрядами. Это было еще до появления интервентов и Деникина. Часть же населения отхлынула из Одессы в деревню, спасаясь от голода и белых мобилизации.

В городе почти не было больших заводов. Самыми крупными предприятиями считались джутовая фабрика, консервные фабрики и судоремонтные мастерские. Над городом властвовал порт с его люмпенами – грузчиками, босяками и жлобами. А на обширных городских окраинах засел упорный и изворотливый одесский обыватель.

Во время интервенции оставшиеся в Одессе рабочие всячески поддерживали подпольщиков-большевиков.

Подпольщики скрывались в каменоломнях и в самом городе. Несмотря на аресты и расстрелы, они работали так смело, что им удалось даже провести при французах и деникинцах областную конференцию большевиков, регулярно выпускать подпольную газету «Коммунист», распространять множество прокламаций, поддерживать бастовавших работников типографии, трамвая и телеграфа, взорвать поезд с военным имуществом интервентов и, наконец, создать военно-революционный комитет, который принял временную власть над городом в первые дни занятия Одессы советскими войсками.

Незадолго до взятия города, когда бои с белыми шли уже у Берислава и Перекопа, деникинская контрразведка расстреляла девять молодых большевиков-подпольщиков. Перед казнью их изощренно пытали, и средневековые эти пытки потрясли даже толстокожих одесских обывателей.

Я помню рассказы об Иде Краснощекиной, проявившей непостижимую твердость и несокрушимое мужество. На нее обрушилась вся ярость контрразведчиков.

Перед казнью подпольщики написали письмо своим товарищам на свободе. В этом письме были простые и берущие за сердце слова: «Мы умираем, но торжествуем».

В этих словах был заключен молодой пыл и великая вера в неизбежность победы – тот пыл и та вера, что с тех пор стали неотъемлемым качеством революционной молодежи.

Ко времени второго прихода деникинцев ряды рабочих в Одессе еще сильнее поредели. Почти все заводы были закрыты. Порт зарастал сорной травой. Жизнь явно замирала, и только бешеная спекуляция пылала пышным и ядовитым пламенем.

Кроме того, в Одессе существовал большой разрыв между сознанием людей, пришедших с севера и живших уже в третьем году революции, и сознанием одесситов, живших в революции только первые месяцы.

Мне тоже пришлось пережить не одну, а три Октябрьских революции: первую в Москве в октябрьские дни 1917 года, вторую в 1919 году в Киеве и третью в 1920 году в Одессе.

В Одессу революция принесла с собой не только сложившиеся на севере формы государственности и быта, но и привела на черноморский юг новых людей, воспитанных революционной бурей и чуждых практическому опыту обывателя-одессита.

Появились решительные и неумолимые люди (их всех одесситы без всякого разбора звали «комиссарами»), точно знавшие, что нужно для победы революционного сознания среди пестрого, чрезмерно экспансивного и склонного к анархическим поступкам населения Одессы.

Кажущееся спокойствие тогдашней одесской жизни объяснялось еще и тем, что зима 1920 года и весь 1921 год был в Одессе временем блокады. Море месяцами лежало, как мертвый плат, без единого пароходного дыма.

От Советского севера Одесса была отрезана разрушенными железными дорогами, налетами всяческих банд, «дикими территориями», где не было никакой власти, взорванными мостами.

Это и вызывало ту некоторую обособленность одесской жизни, какую нельзя было не заметить даже при самом беглом знакомстве с революционными событиями на нашем юго-западе.

Я часто просыпался на профессорской тахте и слушал ночь. С некоторых пор это стало любимым моим занятием.

Ночь наливалась тишиной. Я долго вслушивался в эту грядущую тишину и улавливал иногда далекий звук пушечного выстрела. Это французская канонерка «Ля Скарп» обстреливала каждую ночь Очаков.

Веская тишина и перекаты пушечного гула означали блокаду.

До сих пор я только читал это слово в исторических книгах или в старых, как зеленоватый налет на бронзе, морских романах. Но все же я довольно ясно представлял себе блокаду.

Что это было? Пустое море, где зловеще проносились быстрые сторожевые суда, бессмысленный оружейный огонь с моря по окраинным огородам, погасшие маяки, взорванный у входа в порт транспорт, стены его мачт над водой, далекий луч прожектора рядом с мерцанием Млечного Пути и легкость во всем теле от недоедания.

Если таковы были, по моему тогдашнему разумению, приметы блокады, то одесскую блокаду можно было назвать классической.

Все, о чем сказано выше, стало в то время содержанием одесской жизни. Хотя по временам нам самим казалось, что реальность так густо переплелась здесь с фантастикой, что их друг от друга нельзя отделить.

Несмотря на голод, ледяную сырость в домах, на разруху и одиночество (Яша ближе к весне переехал в город, и я остался на Черноморской один), я чувствовал временами приливы необъяснимого подъема. Я приписывал это своей молодости, хотя и не был тогда так особенно молод, – мои годы уже подходили к тридцати. Но я ощущал себя восемнадцатилетним. Ко всему взрослому – положительному и благоразумному – я был враждебен, хотя временами и робел перед ним, как мальчишка.

Все в Одессе вызывало у меня такое юношеское состояние, даже длившаяся всю весну и лето блокада.

Представление о блокаде, как я уже упоминал, связано с морем, где нельзя увидеть на горизонте ни одного пароходного дыма. Так было тогда в Одессе. И это мне нравилось.

Море было таким пустынным, как в те времена, когда человек не научился строить даже плоты. Можно было неделями и месяцами всматриваться с бульвара вдаль и не увидеть ничего, кроме вспышек солнца в колебании волн.

Изредка на горизонте появлялась эскадра причудливых парусных кораблей. Они надменно плыли под белыми тугими парусами, но, приблизившись, превращались в грозные снеговые горы и неожиданно швыряли в потемневшую воду молнии и раскаты грома.

Море отзывалось на голоса этих туч, превращая один гром в сплетение многих гулких громов. Они сотрясали морские дали па всем направлениям.

Я пользовался всяким свободным днем, чтобы уйти из города на самые отдаленные станции Большого Фонтана. Началась весна. Приход ее на это степное побережье был трогательнее, чем в местах, богатых растительностью. Может быть, потому, что здесь был очень виден каждый цветок, тянувшийся из-под заржавленных рельсов заброшенного трамвая, каждая трепещущая бабочка, сушившая крылья в теплых струях морского воздуха.

Этот воздух подымался равномерными и сильными вздохами из-под крутых рыжих обрывов, подымался от пляжей, заваленных после войны обломками пароходов и дубков. Мне казалось, что горячий ток воздуха исходит даже от корпуса эскадренного миноносца «Занте». Он был выброшен на прибрежные скалы у Большого Фонтана, вклинился в них, и никто даже не пытался снять его с этих скал.

В его каютах и трюмах ворчала, вливаясь и выливаясь, вода. По бортам уверенно карабкались на палубу крабы – погреться на склепанных железных листах.

А море продолжало быть таким пустынным, что мы, кажется, не удивились бы, если бы заметили на нем бронзовые носы греческих трирем или цветные паруса финикийян, хотя это и были давно исчезнувшие древние суда.

Понятия древности и пустынности всегда соприкасаются. Ведь в баснословные времена трирем людей на земле было мало, и потому, конечно, были очень пустынными все ее моря и материки.

Сейчас же Черное море было пустым из-за блокады и еще потому, что белые, бежав из Одессы, увели с собой весь так называемый торговый флот – все пассажирские и грузовые пароходы, буксиры, баржи и катера пароходных обществ РОПИТа (Русского общества пароходства и торговли), Черноморско-Дунайского пароходства и Добровольного флота.

Флот был уведен в разные порты Средиземного моря. Там белое командование распродавало его заграничным компаниям.

Белые увели и частные пароходы, даже такую рухлядь, как пароходы знаменитого судовладельца Шаи Крапотницкого. Шая был посмешищем морской Одессы. Он был легендарно скуп и вероломен. Ему не верили в долг даже извозчики. Служить на пароходах Крапотницкого соглашались только отпетые неудачники. Жалованье из Крапотницкого вытряхивали в прямом смысле этого слова, хватая его за шиворот.

Шае принадлежал допотопный колесный пароход «Тургенев», ходивший из Одессы в Аккерман и описанный Катаевым в повести «Белеет парус». Часть уроженцев Одессы оспаривает это утверждение и уверяет, что «Тургенев» принадлежал пароходной фирме «Мишурес и сыновья».

Где-то на мусорных задворках Нефтяной гавани, на «корабельном кладбище», осталось несколько развалившихся пароходов, предназначенных на слом, и среди них проржавевший насквозь «Димитрий», тоже принадлежавший пресловутому Шае. Этот Пароход чуть не сыграл трагическую роль в моей жизни.

Порт был недвижим, как лагуна. Он потерял прямое назначение и превратился в садок для скумбрии и бычков, в излюбленное место престарелых рыболовов.

Молю заросли овсом (от рассыпанного зерна) и пахучей желтой ромашкой. Причальные тумбы покрылись такой слоеной ржавчиной, что на них с трудом можно было прочесть литую надпись. Она сообщала, что тумбы эти изготовлены на одесском судостроительном заводе Беллино – Фендерих.

На широких молах портовые сторожа разводили огороды.

Из бесчисленного множества огородов, какие я видел в жизни, эти были самыми живописными. В терпких зарослях помидоров хозяин ставил вместо скамейки ящик. На нем можно было посидеть, покурить и послушать всякие разговоры.

По всем огородам стояли пугала и другие хитроумные сооружения, чтобы отгонять воробьев. Пугала изображали бродяг и пропойц в рваных тельняшках и брюках-клеш из дырявой мешковины.

На тряпичные головы этих бродяг были напялены детские ватные капоры или продавленные котелки. Эти заломленные котелки придавали пугалам несколько игривый и вместе с тем бесстыдный вид. Казалось, что владельцы этих котелков сейчас же пустятся в «танец смерти» или канкан.

Самой большой популярностью пользовалось пугало из огорода на Карантинном молу. Оно изображало прощельгу в шкиперской каскетке, с бутылкой водки в руке. Прощельгу этого прозвали «Жорой с Дюковского сада».

Вместо водки в бутылке была морская вода. Но это мешало завсегдатаям порта восхищаться ловкой выдумкой хозяина огорода и шумно его приветствовать.

Из всяческих сооружений против воробьев пользовалась всеобщим признанием только маленькая ветряная мельница. Ее фанерные крылья вертелись от морского бриза и ударяли по осколкам стекла, подвешенным на шпагате. От этого получался довольно приятный и дробный звон, нестерпимый для воробьев.

Были еще бамбуковые шесты с привязанными к ним разноцветными тряпками. Они развевались по ветру, скручиваясь в клубки и распускаясь.

Все это (в том числе и пугала в порту) было косвенными приметами блокады. Она проходила в Одессе пока что спокойно (в начале лета даже старый знакомец <<Ля Скарп» удалился от одесских берегов), и потому ей сопутствовали разные мирные, а иной раз и идиллические занятия жителей.

Война с белополяками не дошла до Одессы. Было тихо. Только изредка в море, всегда в стороне Очакова и Кинбурнской косы, возникали орудийные громы. Это врангелевский крейсер «Кагул» приходил из Крыма и бессмысленно обстреливал берег. Его тут же прогоняли наши береговые батареи, и «Кагул» охотно возвращался в Севастополь с видом исполненного долга, – немилосердно дымя, перекатывая стальным носом груды сияющей пены и развевая на гафеле грот-мачты выцветший андреевский флаг.

Были еще и другие блокадные приметы. Маленький кусок черствого кукурузного хлеба и десяток абрикосов считали вполне достаточной пищей.

Мы, работники Опродкомгуба, знали, какое нечеловеческое напряжение требовалось, чтобы прокормить впроголодь город, насытить, как по евангельской притче, пятью хлебами несколько тысяч человек.

Хлеб давали по карточкам, или, как тогда выражались в Одессе, «по литерам». Это выражение объяснялось тем, что на карточках были отпечатаны все буквы алфавита, от «А» до «Я», и хлеб выдавался в зависимости от литеры: по «А» больше всего, а по «Я» давали почти невесомое его количество, очевидно только для канареек.

Я получал хлеб по литере «К».

Мне нравилось стоять в длинных очередях. Жизнь каждой очереди была хотя и короткой, но увлекательной. Очередь жила головоломными слухами, анекдотами, внезапно возникавшей паникой, насмешливым обсуждением высказанной кем-нибудь житейской мудрости и, конечно, скандалами. Они взрывались внезапно, как фугасные снаряды, но затихали медленно – так же, как рассеивается пыль после взрыва.

Драки случались редко и носили безопасный характер взаимного толкания в грудь растопыренной пятерней.

В одесской очереди я видел удивительную сцену. По скупости слов и выразительности жеста она представляется мне образцом уличных скандалов.

В очереди стоял кроткий старец еврей в длинном, до пят, потертом черном пальто и пыльном котелке. Улыбаясь и покачивая головой, он добродушно рассматривал очередь через

необыкновенно толстые очки. Время от времени он вынимал из кармана пальто маленькую книгу с выдавленным на черном переплете золотым щитом Давида, прочитывал одну или две страницы и снова прятал книгу в карман.

Это был, конечно, ученый, может быть, даже цадик, старый философ с Портофранковской улицы. Все злоключения жизни не могли смутить его ясный дух, его расположения к людям и погасить улыбку в его голубоватых детских глазах.

Около очереди вертелся и приглядывался к ней развязного вида молодой человек в маленькой кепке с пуговкой. На ногах у него сверкали растоптанные туфли канареечного цвета.

Кожаная обувь была в то время большой редкостью. Все ходили в деревяшках. Весь город наполнялся их дробным стуком. По утрам, когда одесситы бежали на службу, стук учащался, и если закрыть глаза, то можно было подумать, что все население Одессы разыгрывает на кастаньетах скачущий танец. Поэтому канареечные туфли развязного молодого человека вызвали в очереди тихую зависть. Она выражалась в восхищенных взглядах и вздохах.

Молодой человек соображал, как бы незаметнее и без скандала втереться в очередь. Наконец он увидел старика с книгой. Старик этот, естественно, показался ему воплощением кротости и непротивления злу. Тогда молодой человек решился. Он ловко просунул плечо между стариком и его соседом по очереди, деликатно отжал старика назад, стал перед ним и небрежно сказал:

– Я извиняюсь!

Старик, все так же кротко улыбаясь, согнул руку, немного отвел в сторону свой маленький острый локоток, примерился и вдруг стремительно и сильно ударил этим локотком молодого человека в грудь под самую «душу». При этом старик сказал совершенно спокойно, как бы внося поправку:

– Нет, это я извиняюсь!

Молодой человек икнул, отлетел и ударился спиной об акацию. Кепка упала у него с головы. Он подобрал ее и пошел, не оглядываясь, к перекрестку. Только на перекрестке он наконец обернулся, погрозил старику кулаком и сказал, всхлипывая:

– Каторжанин! Старый бандит!

Очередь молчала. Коллективная мысль, захваченная врасплох этим событием, еще не оформилась и не получила ясного выражения. А старик вытащил из кармана книгу и углубился в нее, выискивая, очевидно, какую-нибудь истину, пригодную для обсуждения с приятелями-стариками в тихих дворах Портофранковской улицы.

Дни блокады казались безмятежными некоторой части населения Одессы только из-за полной неосведомленности о том, что происходит вне города. На самом же деле положение для молодой еще Советской власти было грозным и напряженным. Нужна была большая находчивость и вера в свои силы, чтобы выйти из нависшей над городом опасности.

Дело в том, что после бегства белых из Одессы на окраинах города и в немецких колониях, во всех этих Либенталях, Люстдорфах и Мариенталях, застряло около семидесяти тысяч деникинских офицеров и солдат.

Союзники рассчитывали, опираясь на них, поднять в Одессе восстание и поддержать его с моря огнем своих кораблей.

Кроме того, в предместьях – на Молдаванке, Бугаевке, в Слободке-Романовке, на Дальних и Ближних Мельницах – жило, по скромным подсчетам, около двух тысяч бандитов, налетчиков, воров, наводчиков, фальшивомонетчиков, скупщиков краденого и прочего темного люда.

Настроение этого разнообразного и нервного общества было неясным. Бандиты вообще отличаются истеричностью и непостоянством привязанностей. Никто не мог знать, как они себя поведут, если случится восстание.

В Одессе в то время было мало советских войск. А между тем союзная эскадра уже крейсировала у берегов Одессы, выслав вперед для разведки итальянский миноносец «Ракия».

И вот произошел случай, резко изменивший всю обстановку. Миноносец «Ракия» наскокил на мину на траверсе Большефонтанского маяка. Внешним проявлением этого события был только легкий гул, докатившийся до города с моря. Но он никого не встревожил.

По приказу Одесского губкома рыбаки с Золотого берега, Большого Фонтана, с дачи Ковалевского и из Люстдорфа – люди опытные и спокойные – немедленно вышли на своих шаландах к месту взрыва, подобрали уцелевших итальянцев, сняли с тонущего миноносца убитых и доставили их на берег раньше, чем успели подойти на помощь корабли эскадры.

Тела погибших итальянцев привезли в Одессу. Командующему эскадрой было передано радио. В нем сообщалось, что город, удрученный этим несчастьем, берет на себя похороны доблестных итальянских моряков, приглашает командира эскадры прибыть на торжественную церемонию и просит выслать для отдания последних почестей погибшим отряды моряков.

Адмирал ответил согласием, – больше ему ничего не оставалось делать.

А наутро от порта до Куликова поля около вокзала где была приготовлена братская могила, выстроились красноармейские части и отряд наших моряков без оружия. На всех домах висели траурные флаги. Путь похоронной процессии был усыпан цветами и ветками туи.

Сто тысяч одесситов присутствовало на этих похоронах – почти все тогдашнее население города.

Гробы несли на руках портовые рабочие. За ними шли с винтовками, опущенными дулами к земле, загорелые итальянские матросы.

Играли оркестры с иностранных судов и сборный оркестр Одессы. Он не ударил в грязь лицом, и надрывающие сердце траурные звуки шопеновского марша заставляли чувствительных одесситок плакать, утирая глаза концами шалей.

В церкви Ново-Афонского подворья печально и похоронно звонили колокола. Крыши домов были черны от людей.

Над могилой говорили речи. Итальянцы слушали их, держа винтовки «на караул». Потом отдаленный прощальный залп кораблей слился с ружейным залпом на Куликовом поле. Братская могила превратилась в пирамиду цветов.

После похорон для иностранных моряков был устроен в бывшем кафе Фанкони ужин. На него товарищ Агин истратил почти весь неприкосновенный запас продовольствия.

После таких похорон не могло быть, понятно, и речи о бомбардировке и о восстании. Матросы иностранных кораблей не допустили бы этого. Они были благодарны за почет, оказанный большевиками их погибшим товарищам, и были растроганы дружеским приемом.

Старый адмирал, похожий, как говорили, на Джузеппе Верди, понял, что дело пока что проиграно. Он отдал эскадре приказ возвращаться в Константинополь. И эскадра скрылась в вечерней черноморской мгле, оставив на произвол судьбы деникинских офицеров.

Одесский губком пошел на огромный риск, допустив в город отряды вооруженных иностранных матросов. Но это был благородный риск, и Одесские большевики, устроив эти похороны, выиграли бескровное сражение у интервентов.

Работники губкома были уверены, что похороны вызовут порыв солидарности у матросов эскадры с нашими рабочими и солдатами и никакие приказы не смогут разрушить эту солидарность.

Вскоре блокада была снята. В порт пришли из Херсона первые парусные дубки с абрикосами.

Потом в одно безоблачное утро у Карантинного мола пришвартовались две пестрые, как писанки, турецкие фелюги из Скутари – первые торговые суда в Одессе.

На следующий день газеты с торжеством сообщили, что в порт прибыли из Турции на двух фелюгах кило камней для зажигалок, стеклянные бусы, позолоченные браслеты и бочонок маслин.

Дело было, конечно, не в кило камней для зажигалок, а в том, что море отныне стало свободным. Оно, как мне казалось, сразу изменилось: весело зашумело под порывистым ветром и засверкало такой белоснежной пеной, какую я на нем не видел до тех пор.

Теперь каждый день уже можно было ждать в юго-западной морской голубизне появления желтых океанских труб, мощных корабельных корпусов, причудливых флагов, торжественных гудков и длинного грохота якорных цепей. Он всегда обещает мореплавателям законный отдых хотя и в чужой, но прекрасной стране.

## ХИТРОСПЛЕТЕНИЕ ОБСТОЯТЕЛЬСТВ

Володя Головчинер любил глубокомысленно говорить, что жизнь наша зависит от причудливого и неожиданного сплетения обстоятельств. При этом он в доказательство своей правоты приводил слова из чеховского «Иванова»: «Жизнь наша, жизнь человеческая, подобна цветку, произрастающему в поле. Пришел козел, съел – и нет цветка!».

Торелли соглашался с Володей и говорил, что, может быть, на всем земном шаре жизнь и течет закономерно, но что касается Одессы, то за это поручиться нельзя.

Он утверждал, что Одесса – взбалмошный город, где возможно все, вплоть до уличных боев из-за венских стульев. При этом Торелли вспоминал случай во время интервенции Одессы в 1919 году.

Интервенты разделили город на четыре зоны: французскую, греческую, петлюровскую и деникинскую. Каждая зона была отгорожена от соседней рядами венских стульев. Однажды петлюровцы воспользовались тем, что французский часовой отлучился с поста по нужде, и перетасили часть стульев к себе – отхватили большой кусок чужой территории. Возмущенный часовой поднял, по словам Торелли, «страшный шумер» и начал даже стрелять.

Но как бы там ни было, все же в том случае, о каком речь будет ниже, Володя Головчинер оказался прав: произошло причудливое и неожиданное сплетение (или, как говорил Володя, «хитросплетение») обстоятельств.

В самый разгар блокады, когда почти полная отрезанность от мира сообщала одесской жизни даже некоторый оттенок беззаботности, ранним летним утром ко мне в дворницкую постучался Торелли.

– Вставайте! – крикнул он мне через дверь. – Кажется, в Одессе началась новая интервенция.

Я вскочил. В Одессе можно было ожидать чего угодно. С обрыва над Ланжероном мы с Торелли увидели затянутый голубоватой и нежной дымкой порт, увидели, как пышно выразился Торелли, «розовоперстую Аврору», – тонкие пряди облаков над морем, освещенные тихой зарей, и на прозрачной воде порта – два огромных и неуклюжих океанских парохода под французским флагом.

Рядом с пароходами стоял элегантный и длинный, как серая сигара, французский контрминоносец «Лейтенант Борри». Прозрачный дым струился из его труб, а медные части пылали на палубе десятками жгучих солнц.

## **Конец ознакомительного фрагмента.**

Текст предоставлен ООО «ЛитРес».

Прочитайте эту книгу целиком, [купив полную легальную версию](#) на ЛитРес.

Безопасно оплатить книгу можно банковской картой Visa, MasterCard, Maestro, со счета мобильного телефона, с платежного терминала, в салоне МТС или Связной, через PayPal, WebMoney, Яндекс.Деньги, QIWI Кошелек, бонусными картами или другим удобным Вам способом.